человек загадка

Ольга
ЕЛИСЕЕВА

ПРАВДА
И МИФЫ
О ГРОЗНОМ
ВЛАСТИТЕЛЕ
III ОТДЕЛЕНИЯ

БЕНКЕНДОРФ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Наши современники хорошо усвоили со школьной скамьи, что Бенкендорф был для Пушкина «злой мачехой», нерадивой нянькой. Зададимся вопросом: а кем Пушкин был для Бенкендорфа? Скрещение биографии Бенкендорфа с биографией Пушкина — удобный случай рассказать о шефе жандармов больше, чем принято. И не только о нем. За плечами Александра Христофоровича вырастает целый мир, встают события и люди, которые как будто не играют в жизни поэта особой роли или значатся «недругами». Читателю полезно узнать, что коловращение вокруг поэта было далеко не единственным и даже не центральным в тогдашней русской вселенной. Полезно увидеть и человека иного — служилого — мира, который в тот момент господствовал в России. И услышать его правду.

Знак информационной продукции 12+

-
- Вступление
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- "УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК…"
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Вместо заключения
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Моим друзьям Елене и Максиму Плаксам в память о поездке в Крым 2014 года

Вступление
«НЕДВИЖНЫЙ СТРАЖ ДРЕМАЛ…»

Что за желанье? что за страсть?
Идти в подвал уединенный,
Встревожить мертвых сон почтенный
И одного из них украсть!

А.С. Пушкин. Послание Дельвигу. 1827 г.

То, что случилось, — случилось. Лучшего поэта России «не уберегли». Теперь следовало жить дальше.

Император уже выругался: «Зачем нужна тайная полиция, если она…» Добрейший Василий Андреевич Жуковский написал свое гневное обвинение: «Государь хотел… а Вы…»

Бенкендорф, как обычно, промолчал. Он вообще предпочитал молчать — не значит не имел своего мнения.

Публика пошумела и забыла: современники относились к Пушкину далеко не так трепетно, как потомки.

Но был еще высший Судия, перед Которым предстояло отвечать за «не уберегли».

Уже догадываются, что пожар Зимнего дворца в ночь с 17 на 18 декабря 1837 г. был своего рода расплатой. К ней следовало бы присоединить болезнь, постигшую шефа жандармов в первых числах марта. За несколько лет до описанных событий, сразу после возвращения императора из-за границы, во время смотра, Бенкендорф вылетел из седла. Над ним пронеслась вся кавалькада кирасир, и если бы он не «родился в рубашке», как часто говорил государь, ушибами дело бы не ограничилось. Тогда сплетничали, что роковое событие предвещает падение при дворе. Ошиблись.

Но вот в 1837 г. болезнь от переутомления настигла Александра Христофоровича. После заседания Государственного совета он лег дома на диван, задумался о том, что уже лет тридцать не был в отпуске, и не смог подняться.

Справляться о его здоровье пришли толпы очень бедных просителей, дела которых Корпус жандармов решил безденежно[1]. «Я имел счастье заживо услышать похвальное

надгробное слово… — не без иронии вспоминал Бенкендорф. — При той должности, которую я занимал, это служило, конечно, самым блестящим отчетом за 11-летнее мое управление, и думаю, что я был едва ли не первый из всех начальников тайной полиции, которого смерти страшились и которого не преследовали на краю гроба ни одною жалобою… Двое из моих товарищей, стоявшие на высших ступенях службы и никогда не скрывавшие ненависти своей к моему месту (министры юстиции и внутренних дел Д.Н. Блудов и Д.В. Дашков. — *О. Е.*), к которой, быть может, немного примешивалась и зависть, к моему значению у престола, оба сказали мне, что кладут оружие перед этим единодушным сочувствием публики».

Однако, хотя Александр Христофорович и выздоровел, к активной государственной деятельности он не вернулся. Прерываются и его записки, в которых, кстати, о Пушкине нет ни слова. Обычно Бенкендорф либо говорил о людях хорошо, либо не давал характеристик. В данном случае молчание красноречиво. Хорошего он сказать не мог.

Николай I сохранял за другом прежние должности, отправлял на воды. А когда в 1844 г. тот скончался, сам попросил священника вставить в речь несколько слов о роковом годе: государь потерял дочь и старого друга. Слова: «Он ни с кем меня не поссорил и со многими примирил» — лучшая похвала главе тайной полиции в устах такого строгого монарха, как Николай I.

По многим оговоркам в письмах Пушкина видно, что и с ним государя «примиряли», по крайней мере не ссорили.

У Настоящего нет другого способа познания Прошлого, кроме как «размывая» то одно, то другое «окно», замазанное побелкой времени. Такими окнами в отношении XIX в. были война 1812 года, движение декабристов, Пушкиниана. Собранные знания перекрещивались, вступая то в концерт, то в резонанс друг с другом. Переполняя авторские «корзины», они взрывали собой концепции. Заставляли создавать новые, которые, впрочем, тоже в свой срок отходили в тень.

Нечто похожее творится сейчас с Николаевской эпохой — временем русского ампира, абсолютного, но тревожного могущества — «гордого доверия» — апогея империи. Изменение восприятия происходит главным образом благодаря введению в научный оборот ранее неизвестных источников — писем, дневников, мемуарных свидетельств, законодательных актов, массовых документов. Не стоит сбрасывать со счетов и возрастное изменение культуры — мы старше, а следовательно, снисходительнее. Кроме того, играет роль удаление от объекта — большое видится на расстоянии. Тот факт, что за плечами у

наших современников период тоталитарного отказа от части знаний о Прошлом, тоже добавляет прочитанному новизны.

Долгие годы схема «душителей» «прекрасных порывов», с одной стороны, и благородных жертв «самовластья» — с другой, оставалась единственно возможной. Император Николай I благодаря традиции, заложенной еще академиком Е.В. Тарле и развитой его учениками, воспринимался как человек «непроходимо невежественный», что, мягко говоря, не соответствовало истине. Или как «палач холодный». А его окружение — как «сатрапы» без чести и дарований. Для закрепления этой картины было потрачено множество, в том числе и художественных, средств.

Между тем деятели той эпохи — А.Х. Бенкендорф, И.Ф. Паскевич, А.И. Чернышев, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, М.С. Воронцов — люди, более чем заслуживающие интереса, а часто и благодарности потомков.

Открывающаяся реальность ярче и богаче привычной схемы. Приведем один пример. До наших дней сохранился исторический анекдот:

«Жена одного важного генерала, знаменитого придворной ловкостью, любила, как и сам генерал, как и льстецы, выдавать его за героя, тем более что ему удалось в компанию 14-го года с партиею казаков… занять никем не защищенный немецкий городок… Жена, заехав с визитом к другой даме, рассказывала эпопею подвигов своего Александра Ивановича [Чернышева]… и, на беду, забыла название: как бишь этот город, вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город…» Один из гостей, слушавших краем уха и решивших, что речь об Александре Македонском, подсказал бедняжке: «Вавилон».

Весьма забавно. Особенно если учесть, как любил хвастаться Чернышев: «Александр разбил того; Александр удержал грудью целую артиллерию… из пленных выходила армия больше наполеоновской 12-го года». Но никем «не защищаемый» «столичный» «немецкий городок» назывался Берлином.

Если принять это к сведению, картина меняется. Обретает дополнительные краски. Да, Чернышев был бахвалом, каких свет не видывал. А кроме того, человеком тяжелым, грубым и трудно переносимым в общении. Но не только им. Ему, например, Россия обязана планом наполеоновского нашествия, который он украл в Париже накануне войны. И самым успешным партизанским рейдом по тылам французской армии.

Позднее, в роли военного министра, он сделал чрезвычайно много, поскольку умел-таки работать, был исключительно чист на руку и служил не за страх, а за совесть.

Позволить этим сведениями усложнить старую картину — значит позволить Прошлому предстать перед нами во всей своей противоречивости. И тогда ничего легкого, ничего в стиле «да вот же как надо было сделать» не останется.

Вместо бледных теней, скользящих по страницам книг, мы увидим человеческие фигуры во плоти и крови. А с ними — с живыми — куда как непросто разбираться.

Бенкендорф — одна из таких фигур. Нашим современникам он известен главным образом благодаря биографиям Пушкина. Донельзя отягощенным мифами о поэте, как его собственного сочинения, так и позднейшими. Для целых поколений Александр Христофорович стал гонителем гения, едва ли не повинным в его смерти. Прошлая жизнь шефа жандармов обрубалась, точно он рождался в тот день и час, когда его путь пересекался с дорогой Пушкина. Бенкендорф возникал из небытия «одним из петербургских немцев», а не героем войны, не командиром авангарда общевойскового партизанского отряда, не первым комендантом послепожарной Москвы, не освободителем Голландии…

Потом мелькало упоминание об его участии в следствии над декабристами, что окончательно губило репутацию Александра Христофоровича. Между тем ни декабристы не были безусловными героями, ни те, кто им противостоял, — безусловными злодеями. По обе стороны следственного стола встречались порядочные люди, по обе — карьеристы, думавшие только о личном продвижении. Бенкендорф к последним не принадлежал.

Не так давно картина начала меняться. Изданы мемуары Александра Христофоровича[2]. Появилась его биография[3], а также серьезные работы о деятельности III отделения[4], не сводящие ее к надзору за прогрессивными литераторами. Одновременно пришло осознание, что император покровительствовал Пушкину, помогал семье, платил долги, а вовсе не пытался избавиться от поэта, униженного чином камер-юнкера.

Но ни одна история не обходится без злодея. Если Николай I не мучил гения, то кто тогда виноват в болезненном для гордого и щепетильного Пушкина надзоре? Кто в роковой день дуэли послал жандармов «не туда»? Кто был равнодушен к славе русской литературы и не берег ее «первую любовь»? Словом, «жалует царь…». «Псарь» же удобен для того, чтобы бросать в него камнями.

Справедливо ли? Попробуем разобраться.

Скрещение биографии Бенкендорфа с биографией Пушкина

— удобный случай рассказать о шефе жандармов больше, чем принято. И не только о нем. За плечами Александра Христофоровича вырастает целый мир, встают события и люди, которые как будто не играют в жизни поэта особой роли или значатся «недругами». Все они сильно удивились бы, узнай о сегодняшней атрибуции. В их собственной жизни Пушкин занимал весьма немного места.

Читателю полезно узнать, что коловращение вокруг поэта было далеко не единственным и даже не центральным в тогдашней русской вселенной. Полезно увидеть человека иного — служилого — мира, который в тот момент господствовал в России. И услышать *его правду*. Возможно, она не покажется такой уж непонятной.

Глава 1
«ГОСУДАРЬ ХОТЕЛ…»

Когда посреди коронационных праздников 1826 г. Александр Христофорович Бенкендорф услышал, что император намерен вернуть Пушкина из ссылки, он вряд ли удивился. Хотя на его столе уже лежали донесения литератора С.И. Висковатова о «буйном» поведении титулярного советника, находившегося в Псковской губернии под надзором. А кроме того, носились слухи о каких-то стихах на «14 декабря»…

Но Бенкендорф служил давно, видел всякое и принимал жизнь такой, какая есть: это экономило время. Бумаги следовало не порвать, а придержать. Только и всего.

«ГИБЕЛЬНАЯ ВОЙНА»

В тот момент Александра Христофоровича занимали философские мысли. «Вот уже во второй раз за 25 лет я присутствовал в Москве на церемонии коронации, — писал он. — Двадцать пять лет назад я был здесь совсем молодым, только вступившим в мир человеком. Во второй раз я наблюдал все это в возрасте 45 лет, познав все удовольствия и все тяготы активной службы. В первый раз я был мальчиком, во второй я был мужем и отцом семейства».

Шеф жандармов говорил о коронации Александра I, которую увидел 20-летним юношей, полным надежд, как и все окружавшие молодого государя. Вся первая половина его жизни прошла при «покойном Ангеле», он испытал и взлеты, и немилости…

Ему довелось видеть Первопрестольную не только нарядной. Но и полной раненых, при отступлении в 1812 г., когда «казалось, Бог оставил, а дьявол торжествует». Тогда утешало одно:

А.Х. Бенкендорф. Художник Дж. Доу

«Французская армия вступала в ад и не могла пользоваться средствами Москвы… Неприятель был вынужден отыскивать для себя продовольствие в окрестностях столицы. Он внес всюду беспорядок и грабеж и уничтожил сам то, что могло облегчить его пропитание. Скоро окрестные города представляли пустыню. Приходилось искать дальше, разделяться на мелкие отряды, и тогда-то началась для французов та гибельная война, которую казаки вели с таким искусством».

Наконец, сразу после ухода французов партизанский отряд Бенкендорфа — авангард Летучего корпуса — вошел с боями в старую столицу. А столицы-то и не было.

Накануне Александр Христофорович трое суток получал известия, что неприятель по чайной ложке, словно цедя кровь из раны, выпускал из города части. Вдруг около трех со стороны древней столицы раздался исключительно громкий взрыв. На воздух взлетел Арсенал.

11 октября Бенкендорф поднял авангард, и ворчливые спросонья донские казаки поспешили к Тверской заставе.

Ожидалось, что наскок встретит корпус принца Евгения Богарне, но тот уже ушел на Калугу, а его место заняла уланская бригада. Поляки. «Нация сколь героическая, столь и несчастная». Что за судьба? Всегда присоединяться к врагам России. И первыми получать сдачи? Хоть в наступлении, хоть при отходе. Наполеон прикрывался ими, пока последние обозы не выбрались из города.

Авангард Бенкендорфа опрокинул в улицы три вражеских полка и взял 400 пленных. В душе Александр Христофорович не одобрял поспешного вступления в город. Дело летучего отряда — наскочил, отпрыгнул. Бенкендорф давно это знал и, положа руку на сердце, не стал бы приписывать своим лапотникам геройств. «Партизан рыщет где может» и всегда находит способ не попасть впросак. А потому нет ни тех опасностей, ни тех побед, что в реляциях. Зато «дуван» татарам на зависть.

Какой «дуван» мог быть под Петровским дворцом, где напоследок квартировал Наполеон? Огромное поле, загаженное, истоптанное и покрытое дохлыми, вспучившимися лошадьми. Даже чаявшие поживиться остатками французской роскоши крестьяне из соседних сел здесь не бродили.

Город почти весь выгорел и осел, словно под его кожей тлела лихорадка. Изредка встречавшиеся дома походили на решето: сквозь их черные щербатые стены можно было наблюдать улицу.

У застав, отступая, застряли хвосты французских обозов, полных добра — не раненых. Последних большей частью бросили, и они, как всего месяц назад русские, вели беспорядочную, отчаянную стрельбу из окон уцелевших домов, из подвалов, из-за опрокинутых телег.

Узнав об уходе неприятеля, в город стекались толпы окрестных мужиков — рыться на пепелищах, искать годные в хозяйстве вещи. День назад целые семейства евреев осаждали французских солдат, меняя все на все. Теперь они открывали тары-бары с казаками, предлагая то же самое, но дороже.

Отряд с трудом прокладывал дорогу через груды трупов и конской падали. С Тверского вала через пепелище, утыканное печными трубами, были хорошо видны Калужские ворота.

Из-под застрех полез воровской люд, который генерал-губернатор Ф.В. Ростопчин перед самым уходом выпустил из тюрем, полагая разбоем усилить хаос в оставленной столице. Ловил ли их Бонапарт — неясно. Но Бенкендорфу предстояло.

Стены Кремля обрушились от подрывов в пяти местах. Невесть откуда взявшаяся толпа перла прямо на французские подкопы, в которых лежали еще не разорвавшиеся бочки с порохом. Люди подались к Спасским воротам. Оказалось, они забаррикадированы изнутри. Никольские были напрочь завалены

здоровенными кусками башни и Арсенала. Кто бы мог подумать, что свой город придется штурмовать, карабкаясь по стенам!

Но что больше всего поразило Бенкендорфа — куча сограждан, пытавшихся прорваться в Кремль и чаявших там поживы. Требование генерал-майора разойтись не возымело действия. Пришлось теснить толпу казаками.

Те взялись за нагайки. Потребовались дружные усилия полка, чтобы разогнать ворье. Александр Христофорович расставил караулы у проломов, а сам последовал дальше. К Соборной площади. Его люди пополам с оставшимися казаками метались по всему Кремлю, ловя французских поджигателей. Бочки с порохом обнаружились под соборами, Спасской башней, Оружейной палатой и колокольней Ивана Великого, которую один раз уже взрывали. От нее оторвало пристройку со звонницами. Но сам каменный перст только покачнулся.

Соборная площадь имела вид брошенного цеха под открытым небом. Повсюду стояли горны, в которых переливали оклады икон и захваченную утварь.

В Архангельском храме держали винный склад. Весь пол был в мадере. Под сводами Успенского, вместо паникадила, покачивались огромные весы. На царских вратах отмечали прибыток 325 пудов серебра, 18 пудов золота. Красноречиво.

Но еще прежде, чем Бенкендорф увидел все это, ему в нос ударил тяжелый ядреный запах. Ни то стойло, ни то нужник, ни то… трупы тоже имелись.

Мощи святых были выброшены из гробниц и изрублены. Каменные саркофаги наполнены нечистотами. Образа перепачканы и расколоты, алтарь опрокинут. При каждом шаге подошвы с клейким всхлипом отдирались от плит, на которых засохло вино.

Бенкендорф наложил свою печать на кованые высоченные двери соборов. Никто не должен видеть. Пока монахи не приберутся. Распорядился не пускать народ. Самая горячая вера может поколебаться при встрече с поруганной святыней.

КОМЕНДАНТ

Именно проворству его партизанского отряда Москва была обязана тем простым фактом, что Кремль не успели взорвать. Но ни тогда, ни во время нынешней коронации Бенкендорф об этом не думал. Как никогда не вспоминал о Саввино-Сторожевском дефиле у Звенигорода. Даже в мемуарах писал о том, что делали другие — те, кто служил под его командой. Выходило: если

читатель подумает, сразу поймет, чья была военная операция. А если не подумает? И так двести лет.

При отступлении его отряд — три тысячи казаков — шесть часов держал переправу у Звенигорода… Русские Фермопилы. Бенкендорф почти ничего не помнил. Целые дни, пока отступали, дрались. Шесть часов, двенадцать? Трудно вычленить один момент. Когда война кончилась, оставшиеся в живых мерились геройствами. Оказалось, Летучий корпус, перекрыв дорогу двадцати тысячам принца Евгения Богарне, дал остальной армии отойти. Все должны кланяться. Но у каждого своих подвигов хватало.

Легче забыть. Тем более что память у Александра Христофоровича в отца пошаливала, и достойнее было не приписывать себе лишнего… Не приписал и половины.

Но вот комендантство в разоренной Москве он помнил твердо. Недаром тогда же писал другу Михайле Воронцову: «Люди убивали друг друга прямо на улицах, поджигали дома… Все разоружены и накормлены».

Чем кормят города, оставшиеся без запасов? Подмосковные мужички — «самые сметливые, но зато и самые развратные во всей империи» — притащились с целыми обозами торговать. Для неприятеля хлеба у них не было, попрятали. Пытай — не скажут где. А тут по всему городу образовывались ярмарки.

Донцы рассыпались по улицам искать импровизированные торжки и везде объявить приказ коменданта: хлеб по довоенной цене. Треть мешков сдавать. Без этого к продаже не допускать. У Бенкендорфа на руках раненые, сироты и по подвалам те, у кого нет даже медных денег.

Крутая мера должна была бы ожесточить поселян и на время развернуть их возы обратно от города. Ничуть не бывало. Народ долго придерживал товар и теперь отдавал хоть по довоенной цене. Покупатель потихоньку возвращался в столицу.

Другим благодеянием для человечества был арест всех, кто приехал с пустыми телегами — грабить. Их похватали гвардейские казаки и заставили вывозить с улиц мертвые тела, конскую падаль. Зарывать где-нибудь возле Марьиной рощи, не ближе.

Раненые французы, запершиеся в Новодевичьем монастыре, сдались мирно, когда узнали, что их накормят. А накануне обложились порохом и обещали перерезать всех русских, которых сами же испоместили у себя под боком. Да, да, многие из французов помогали вытаскивать русских раненых из горящих домов и приносили в монастырь. Теперь вчерашние хозяева столицы — солдаты Великой армии — были напуганы и

взбешены. Их бросили. Хотя Наполеон издал приказ увозить больных, но маркитантки и даже полковые интенданты нагрузили телеги добром. Людей не взяли. Раненые готовы были стрелять. Но все обошлось. Несчастных перенесли в Странноприимный дом князей Голицыных напротив Нескучного сада.

Для Бенкендорфа война вообще не имела того возвышенного лица, которое ей приписывали поэты. Александр Христофорович много навидался в своем Летучем корпусе. Среди «толщи народной». Не все мог одобрить. Не со всем справиться. Но и скрывать не собирался.

«Мой лагерь походил на воровской притон, — писал генерал, — он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов войск и наций представляли странное соединение с бородами и крестьянской одеждой. Множество людей, занимавшихся темными делами, являлись беспрерывно торговать добычу. Постоянно встречались солдаты, офицеры, женщины и дети всех народов, соединившихся против нас… Было до крайности трудно спасать жизнь пленных — страшась жестокости крестьян, они являлись толпами и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Особенною жестокостью в этих ужасных сценах была необходимость делать вид, что их одобряешь, и хвалить то, что заставляло подыматься волосы дыбом».

Однако и на возражения захваченных в плен французов: русские-де ведут «неправильную войну», натравливают на противника мужиков с вилами, генерал знал, что ответить: «Вы врываетесь в их дома, оскверняете церкви, насилуете женщин и хотите, чтобы они не нападали на вас?»

Между тем сбивавшиеся в отряды крестьяне, вооруженные чем попало, вызывали тревогу в Северной столице. Не бунтуют ли? Бенкендорфу пришлось столкнуться и с этой точкой зрения. Ему, как командиру авангарда, пришел пакет из Комитета министров. По прочтении захотелось вытереть руки о мундир. Другого нет! Расследуют возмущение крестьян под Волоколамском в селе помещика Алябьева. Те отказали в повиновении приказчикам. Свели со двора всех лошадей. Говорили, что теперь они «не барские», а «французские».

Александру Христофоровичу вменялось в обязанность отловить и расстрелять зачинщиков. И разоружить остальных. То есть остаться глухим и слепым, не зная, что делают враги.

Бенкендорф пришел в благородное негодование. Даже

кипение. Написал ответ: «Крестьяне, которых губернатор и иные власти именуют возмутителями, не имели и тени злого умысла. При появлении неприятеля их бросили и господа, и наглые приказчики, вместо того чтобы воспользоваться добрым намерением своих людей и вести их против врагов. Имеют подлость утверждать, будто поселяне именуют себя „французами". Напротив, они избивают, где могут, неприятельские отряды, вооружаются отобранным оружием и охраняют свои очаги. Нет, не крестьян надо наказывать, а вот стоило бы сменить чиновников, которые не разделяют духа, царящего в народе. Я отвечаю за свои слова головой“.

Он не мог „разоружить руки, которые сам вооружил“! А главное — своими глазами видел волоколамских крестьян. „Имя изменников принадлежит тем, кто в такую минуту осмеливается клеветать на самых усердных защитников Отечества“.

Лет через двадцать Александр Христофорович нашел свое письмо, подшитое к „Журналу“ Комитета. И страшно собой возгордился. Орел!

Но что говорить, народ у нас шалый. Теперь в оставленной противником Москве героические казачки тоже шалили. Расположившись на Тверской в богатом доме Белосельского, их командир генерал И.Д. Иловайский рассылал старшин с командами в рейды, откуда они приезжали груженными, как из неприятельских земель. На любой спрос следовал ответ — французские подводы. Отбиты и возвращены в столицу храбрыми донцами.

Однажды Бенкендорф попытался возразить и сразу понял границу своих полномочий: за Иловайским стояла реальная воинская сила, за ним же только приказ императора комендантствовать в погорелой столице — маловато по военному времени. Он посетил дом Белосельского и видел своего товарища-донца: прямо на полу перед „батькой“ громоздились две кучи из окладов, чаш, потиров, цепей и прочей утвари. Являвшиеся поминутно казаки подносили ему узлы и плетеные короба, набитые драгоценностями. Иловайский разбирал: что поценнее, клал одесную себя, а что попроще — ошую.

П.В. Голенищев-Кутузов. Неизвестный художник

„Зачем этот дележ? Ведь все равно все следует отдать духовному начальству, как вещи ограбленные из церквей московских“, — заявил Бенкендорф.

„Нельзя, батюшка, — хитро прищурился казак. — Я дал обет, что все, что побогаче, если Бог сподобит меня к занятию от вражьих рук Москвы, все ценное, доставшееся моим казакам, отправить в храм Божий на Дон, а данный завет надо свято исполнять“.

Так выглядела освобожденная Москва без героических прикрас. Две недели Бенкендорф, как умел, наводил порядок. А хаоса становилось только больше вместе с возвращавшимися в город беженцами. Холода крепчали, жить людям было негде, есть надо. Посему Александр Христофорович несказанно обрадовался, когда в столицу прибыл граф П.В. Голенищев-Кутузов, прежде генерал-полицмейстер Петербурга, а ныне уполномоченный государем новый комендант.

Тот радовался, что первые, самые страшные, дни в оставленном городе, когда от безвластия каждый кидается с

ножом на каждого, уже пережиты. И пережиты не им. 23 октября Летучий корпус выступил навстречу ветру и крепчавшему морозу.

Думал ли тогда Бенкендорф дожить до конца войны? А до новой коронации?

„РАЗВРАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ“

Во всяком случае, не предполагал, что окажется ответственным за опального поэта, которого император намеревался вернуть.

Между тем Висковатов еще в феврале сообщал, что „известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям… и ныне при буйном и развратном поведении“ Пушкин „открыто проповедует безбожие и неповиновение властям“. Якобы при получении известия о кончине государя Александра Павловича он „изрыгнул“ ругательство: „Наконец, не стало Тирана, да и оставший род его недолго жить останется“.

Висковатов еще с 1811 г. служил в канцелярии министра полиции, но, сам был не чуждый сочинительству, мог просто ревновать к босоногой музе Пушкина. Откуда ему было знать, как круто изменятся правительственные намерения?

Сам Александр Христофорович больше доверял мартовскому донесению полковника И.П. Бибикова — своего родственника по супруге и падчерицам. Тот уже чувствовал новые ветры и был не склонен к строгостям.

„Выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? — рассуждал Бибиков о недовольных. — Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве, в таких пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишенные всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях наводняют государство массою мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания“.

Все так. Во время следствия более чем у половины арестованных нашли „куплеты“ Пушкина, Да и сослан он был из столицы в Кишенев разве не за прославление „вольности“?

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу!
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу…

Так ли уж сильно это отличается от „тирана“ по адресу

покойного Александра 1 и уверений, что „род его недолго жить останется“?

Кажется, было еще явление Пушкина в театр с портретом Л.-П. Лувеля — убийцы герцога Беррийского, наследника французского престола. На слепой афишке красовалась надпись; „Урок царям“, сделанная рукой самого „шалуна“.

Была какая-то рождественская песенка и „куплеты“ про ножик. Именно их в изобилии находили у арестованных по делу 14 декабря. Строки: „Ура! В Россию скачет кочующий деспот“ — порадовать правительство не могли. Хотя до сих пор смешно, „послушавши, как царь-отец рассказывает сказки“. Но вот от „Кинжала“ любому „добромыслящему“ подданному становилось не по себе:

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Те же мысли, что и в „Вольности“. Грозить императору цареубийством „среди пиров“, „на ложе сна, в семье родной“. И это в России, где свежа память о гибели Петра III и Павла I! Императорская семья до сих лор каждый год собирается на тайную ночную литургию по убиенному отцу. Там только свои. Среди них Александр Христофорович, как воспитанник вдовствующей императрицы, присутствовал не раз. Правду знают все и никто. Доподлинно. Как знал он. Из первых рук, вернее уст плакавшей августейшей покровительницы.

А потому прославлять Зандов и Лувелей просто неприлично: „И на торжественной могиле/ Горит без надписи кинжал“. Известно, чье имя должно быть написано на оружия Немезиды.

Полагать, будто четырехлетняя ссылка может образумить вольнодумца, наивно. Она любого в состоянии только озлобить. Бибиков прав. И в доказательство своих слов полковник приводил „стихи, которые ходят даже в провинции“:

Паситесь, русские народы,
Для вас невнятен славы клич,
Не нужны вам дары свободы, —
Вас надо резать или стричь.

„Русские народы“ в этом стихотворении перекликаются с народами остального мира, которые совсем недавно восставали,

пережив новую волну европейских революций. Всего полтора года назад Пушкин написал „Недвижного стража…“, в котором ясно выразил свои политические убеждения. Вчитаемся:

1
Недвижный страж дремал на царственном пороге,
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли, —
2
И делу своему владыка сам дивился.
Се благо, думал он, и взор его носился
От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От царскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы…
4
Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?
5
Давно ль — и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу…

Дело не в том, что ко времени коронации лета 1826 г. поэт не изменил своих суждений. Напротив, они остались прежними. Когда в Михайловское дошло известие о смерти Александра I — „владыки севера“, приготовившего всему миру в дар „тихую неволю“, — Пушкин пришел в восхищение от своих пророчеств в „Андрее Шенье“ и писал П.А. Плетневу, что велит напечатать элегию „церковными буквами“ — ведь там говорилось о гибели „тирана“.

Дело в том, что поэта решили вернуть из опалы какой есть. Озлобленного, резкого, крайне недружественного правительству и сильно замешанного в дело 14-го. Пусть только благодаря

стихам и знакомствам.

„В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои“, — с ужасом писал ему Жуковский. Принято считать, что „шалун“ это хорошо понимал. Но еще в январе 1826 г. он писал П.А. Плетневу: „Верно, вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен… Не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение… Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собой не знаю… Никак нельзя мне показаться в Петербурге, а?“

„Других художеств… не знаю“. За пол года понял ошибку? 10 июля писал П.А. Вяземскому: „Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру“.

Между тем письмо написано с расчетом на перлюстрацию. В нем уже намечена линия защиты: не все „возмутительные рукописи“ принадлежали Пушкину, если бы его вызвали на допросы, он бы сумел это доказать…

Александр Сергеевич иногда пытался выстроить оправдания заочно. Примерно за год до смерти Александра I он в воображаемом разговоре с императором отстаивал свое право вернуться из ссылки. Точно так же в письме Николаю 111 мая 1826 г. поэт говорил, что „с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моим мнением общественному порядку“ „готов обязаться подпискою и честным словом“. Вяземскому, который подсказал последние слова прошения, Пушкин писал: „Жду ответа, но плохо надеюсь“.

Слишком многое тянуло к осужденным: „Еще-таки я надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна“.

„УЗЫ ЛОЖНОЙ ДРУЖБЫ“

А разве у самого Александра Христофоровича не было знакомых по ту сторону следственного стола? Даже близких друзей?

В минувшую войну он много сделал для того, чтобы „дары свободы“ больше не пересекали русской границы. Когда же 14 декабря эти „дары“ обнаружились внутри отечества, сам дважды

ходил с кавалергардами в конную атаку на ряды мятежников. А потом слушал покаянные речи в Следственном комитете…

Из 579 человек, прикосновенных к делу, 290 оказались оговорены. Их вернули домой в прежних чинах и с выплатой прогонов до Петербурга. Каждый мог похвастаться, что видел императора. Не вдалеке, на маневрах, а в тесной камере, лоб ко лбу. И говорил с ним, кто десять минут, а кто более часа. Странные то были беседы. Случалось, человек, совсем непричастный заговору, вываливал столько наболевшего, что молодой государь Николай Павлович потом плакал.

Однако полностью чистых не было: каждый что-то видел, что-то слышал, у кого-то гостил и даже мог ругнуть правительство. Эти-то слова, сорвавшиеся с губ от горечи, считались эмиссарами тайных обществ за согласие вступить в организацию. Человек ни сном ни духом сидел в гарнизоне, пил чай с коньяком, а в урочный час его хватали и везли в столицу. Состоял? Участвовал? Целовал крест на цареубийство?

Но степень виновности следовало различать. Были те, кто в военных Лещинских лагерях под Киевом после учений с пьяных глаз орали: „Отчизне посвятим души прекрасные порывы!“ В чем трудно усмотреть измену. А были другие — подносившие крест и подсказывавшие слова страшной клятвы. Утром просыпался „заговорщик“. Где вчера был? Что обещал? На чем подписывался? Да как же меня угораздило? И жил имярек — прапорщик ли, полковник ли — согнувшись от страха. Шло время, он начинал забывать, и уже казалось — не дурной ли сон? Нет. Потянули за веревочку.

Без числа таких сидело, потупив глаза в пол, мычало невразумительные объяснения или твердило: не погубите, виноват, деток трое, жена-бесприданница… Что ж ты, голуба, раньше думал? Зачем хранил у себя „Кинжал“ или „Ноэль“?

Было у этих людей право негодовать? О да! Как еще сам Александр Христофорович не попал в число негодующих? Спасла осторожность? Или молчаливость? Или, наконец, сознание долга? Тяни лямку. Не ропщи. Поправляй несправедливости, где можешь. Желай добра. Но мятеж… Явно не его стихия.

Он видел Париж при Бонапарте — ездил молодым в посольство — и сильно удивлялся, как могло случиться, что люди, вчера свергшие монархию, пролившие реки крови, сегодня с восторгом пресмыкались перед новой династией?

При известии об июльской революции 1830 г. во Франции генерал скажет императору: „В третий раз Бурбоны были свергнуты с престола, даже не покусившись защититься… Со времен смерти Людовика XIV французская нация, более

развращенная, чем цивилизованная, опередила своих королей“ и „тащила за собой на буксире решения слабых Бурбонов“. Россию „от несчастий революции“ предохраняет именно то, что „со времен Петра I именно наши государи тянули нацию в повозке… своей цивилизованности и своего прогресса“.

Пятью годами ранее, в Москве, казалось, все подтверждало это мнение: люди благоговели перед особой монарха и, несмотря на многотысячные собрания, не обижали друг друга в его присутствии. „Такое поведение было бы сложно повторить европейским народам, которые считают себя цивилизованными… — писал Бенкендорф. — Именно то, что русский народ еще богобоязнен… является гарантией порядка и безопасности. Гарантией более солидной и надежной, чем… кисельные берега народного суверенитета, равенства и всех шатких, слабых и кровавых догм французской революции“.

Такое убеждение генерал вынес из четверти века войн, и в этом вопросе он крепко не сошелся с князем Волконским — с Бюхной — близким другом, ныне государственным преступником. Вместе партизанили. Вместе бродили по загаженным соборам Кремля. И вот, представьте себе, зрелище — Сергей Григорьевич в Следственном комитете!

После первой же встречи государь отказался иметь с Волконским дело, поскольку он „набитый дурак, лжец и подлец в полном смысле слова. Не отвечает ни на что! Стоит, как одурелый“. Иными словами, его величество боялся накричать. А кроме того, жалел матушку арестанта.

Да, бедную обер-гофмейстерину стоило пожалеть! Подруга вдовствующей императрицы имела привычку вечно воспитывать царевичей. Однажды на террасе, выходившей в сад, она так заспорила с великим князем Николаем Павловичем, что тот подхватил старушку на руки, отнес к будке часового и посадил за караул. Мол, я вас арестую, еще одно слово возражений, и вы сядете в крепость…

Теперь воспоминание об этой сцене ужасало, а тогда у всех слезы наворачивались от хохота. Старая княгиня Александра Николаевна совершенно не знала, как себя вести в связи с неудобным положением младшего отпрыска. „Милый Сережа, откровенно признайся во всем государю и чистым раскаянием возврати мне, твоей несчастной матери, сына“, — писала она.

Но Бюхна, кажется, взял себе за правило изображать слабоумного. Он никак не мог выбрать линию — держался то высокомерно, то приниженно, то представал мучеником идеи, то случайно отбившимся от стада агнцем, унесенным в волчье логово, но почему-то не съеденным.

На первом же допросе 16 января Серж обрушил на слушателей каскад имен заговорщиков из Тульчина, помянул Кавказский корпус и „братьев“ в Польше. 21 фамилия. Десять оказались непричастны. В мемуарах князь привел слова А.И. Чернышева: „Стыдитесь, князь, прапорщики больше вашего показывают“. Зачем врать?

Волконскому показывали письма родных. Стыдили. Но он сам боялся только одного: чтобы у него не „вырвали из рук Машеньку“ — жену. И писал ей трогательные письма: „Прежде чем я опущусь в могилу, дай взглянуть на тебя еще хоть один раз, дай излить в твое сердце чувства души моей“.

Семья генерала Н.А. Раевского вовсе не жаждала, чтобы „Машенька“ опускалась вместе с Бюхной в могилу. Пороги Следственного комитета обивал и старый вояка, и его старший сын Александр, пока вместе с братом сам не оказался в крепости. Впрочем, без последствий. Но осадок остался. Молодые Раевские многое знали, и их скорее простили из уважения к заслугам отца, чем уверились в полной невиновности. С этими господами водил дружбу Пушкин. И писал восторженные стихи черноглазой Машеньке. Впрочем, кому из дам он не писал стихов…

„ВОДЫ ФЛЕГЕТОНА“

В ссылке Пушкина, как сейчас вспоминал Бенкендорф, имелась еще одна невнятная история, о которой царская семья не говорила.

Навещая Лицей, бывший выпускник отправился гулять по коридорам, соединявшим учебные помещения с дворцом. Там, в темном переходе, куда отворялись двери с половины фрейлин, он вдруг заслышал шелест платья и, вообразив, будто это горничная княгини Волконской Наталья, кинулся ее целовать.

Каков же был конфуз, когда вместо ответного чмоканья поэт получил звонкую пощечину и обнаружил в своих объятиях саму княгиню. А ведь там могла оказаться и ее величество Елизавета Алексеевна…

Государь Александр I и его супруга к этому времени давно не составляли единого целого, жили отдельно и даже выходили на прогулки в разные часы, чтобы не стеснять друг друга. Однако покушения на свою жену — пусть и воображаемого — император простить не мог. Он знал толк в куртуазных сценах и мигом угадал за попыткой сорвать поцелуй с уст фрейлины страстное признание госпоже.

Стихотворное посвящение Пушкина императрице: „Я пел на

троне добродетель с ее приветною красой“ — еще куда ни шло. А вот „Прозерпина“, написанная уже в ссылке, в 1824 г., — откровенное признание:

Плещут воды Флегетона,
Своды тартара дрожал,
Кони бледного Плутона
Из Аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил…

Когда-то сам Александр Христофорович служил пажом великой княгини Елизаветы, и она даже дразнила его „мой амурчик“. Но он бы и в страшном сне не осмелился… „Смертный мил!“

Кроме того, между государем и государыней была тайна, которую никто не хотел разгадывать. Перед свадьбой все умилялись на них, называли Амуром и Психеей. Что стало причиной их разрыва? Его подозрительность? Ее популярность? Когда августейший муж заметил, что молодая, добрая и приветливая императрица вызывает у подданных волну энтузиазма, он сразу же отодвинулся от неё. Построил стену. Целый культ: „Виват Елисавет!“ Масонские ложи ее имени — „Елизавета к добродетели“. Компании молодых офицеров, возжигавшие в парках фейерверки с буквами „Е. А.“. Мало ли в России правило цариц, перешагнувших через головы законных государей? Если бы Елизавета захотела, нашлось бы множество пылких гвардейских сердец…

Всю оставшуюся жизнь Елизавета Алексеевна посвятила немому доказательству: она не виновата. Далекая от всего, по своей воле скрывшаяся в тень и даже ставшая тенью. У нее не было влияния. Как почти не было ее самой.

Однако теперь, после следствия, Александр Христофорович знал: оказывается, находились желающие увидеть императрицу в роли регентши. Было даже составлено воззвание к войскам: „Храбрые воины! Император Александр I скончался, оставив России в бедственном положении. Великие князья Константин и Николай взаимно отказались от престола. Они не хотят, они не

умеют быть отцами народа! Но мы не осиротели. Нам осталась мать в благоверной государыне Елизавете. Виват Елизавета Вторая! Виват Отечество!“

Показания поражали той простотой, которая хуже воровства: „В народе смотрели на Елизавету, как на сироту“; „Не имея наследника, она должна была склоняться в пользу конституции.

Императрица Елизавета Алексеевна. Художник А.П. Рокштуль

Ей было бы предоставлено приличное содержание, воздвигнут монумент и присвоен титул Матери Свободного Отечества. Она уж не молода, чего желать, кроме славы?“

Несчастную женщину собирались использовать даже без ее согласия. Однако любопытно, что преклонение перед Елизаветой и революционные порывы соединялись у одних и тех же людей. Она единственная из царской семьи нашла в себе силы радоваться смерти Павла I: „Я дышу одной грудью со всей Россией!“

На ней лежала тень тираноборчества. Этой-то тенью давно увядшая Психея и восхищала молодых поклонников свободы, вроде Пушкина.

Сначала император хотел заключить юношу в крепость. Носился даже слух, будто молодого шалопая отвезли в Петропавловку и там выпороли. Впрочем, ложный. Кто его распускал?

Толстой-американец? Говорили много и многие. Соболезнуя молодости „шалуна“, Александр I заменил заточение ссылкой в Кишинев.

Теперь поднадзорный сидел под Псковом и засорял умы новыми зажигательными стихами.

„ЛУЧШЕ БЫ ЛЮДЯМ НЕ РОДИТЬСЯ“

„Пусть постараются польстить тщеславию этих непризнанных мудрецов, — продолжал Бенкендорф читать рапорт Бибикова, — и они изменят свое мнение… их пожирает лишь честолюбие и страх перед мыслью быть смешанными с толпою“.

Во многом полковник был прав. На одного даровитого малого сотня Висковатовых. И все с амбициями. Однако именно они творят „общественное мнение“. А „общественное мнение для власти то же, что топографическая карта для начальствующего армией“, — писал сам Александр Христофорович на высочайшее имя. И тут же оговаривался: поступающие данные следует внимательно проверять, „чтобы мнение какой-либо партии не было принято за мнение целого класса“.

Что класса? Целого народа. В России две трети молчат, а одна едва может связать слова в предложении. Найдется пара „фрачников“ и станет вещать от имени остальных. О политике! Между тем „одна служба и долговременная может дать право и способ судить о делах государственных“. В этом Бенкендорф был убежден.

„Фрачников“ следовало понудить говорить в пользу правительственных мер. Раз они органически не в силах молчать. И в этом смысле Пушкин, с которым носится „общественное мнение“ обеих столиц, мог быть полезен.

Ведь „нравственное влияние“, которое власть оказывает на общество, „должно быть неразделимо с самой властью, для которой оно в тысячу раз более необходимо, чем внешние знаки“. К такому мнению Бенкендорф пришел еще в 1820 г., после бунта Семеновского полка. В противном случае „будучи лишена своих нравственных атрибутов, которые даются общим мнением, власть, не имеющая надлежащей опоры, оказывается поколебленной, и ее могущество заменяется силой материальной, которая всегда на стороне численного превосходства“.

Что следовало из этих рассуждений? Что нельзя сидеть на одних штыках. Нужно нравственное влияние. А каким оно может быть после мятежа, следствия и казней? „Когда государство вынуждено применять чрезвычайные меры, это значит, что пружины его внутренней жизни ослабли, — его же собственные слова, сказанные государю во время разбирательства. — Потом последует наказание, также весьма чувствительное для общества. Понадобятся десятилетия, чтобы загладить впечатление“.

В таких условиях стоило вернуть „русского Байрона“ русской читающей публике. Ведь уже появились неблагоприятные суждения о самой коронации. Не все были довольны, что вслед за пушечной канонадой танцуют. „После казней и ссылок на каторгу людей, преступных иногда одною мыслью, одним неосторожным словом и оставивших после себя столько вдов и сирот, — писал чиновник по особым поручениям канцелярии московского генерал-губернатора М.А. Дмитриев, — назначен был триумфальный въезд в Москву для коронации. Для Николая Павловича это был действительно триумф: победа над мятежом“. Между тем совсем недавно, во время работы Следственного комитета, „слухи приходили и сменялись беспрерывно: все трепетали, и в первый раз в жизнь мою я увидел, что боятся говорить громко“.

Под большим секретом передавали предсказание старичка шведа из Сибири, который якобы угадал гибель Людовика XVI в результате революции. „При первых плесках царствования Александра Благословенного он предрек помазаннику славу, но уточнил, что наследника не будет. Место же нового государя займет не Константин, а Николай“, и его правление „будет таково, что лучше бы людям не родиться“.

Попробуйте обойтись с подобными слухами. Впрочем, люди легкомысленны. Не любят горевать. Съехались в столицу и ожидали красивого торжества.

Весь день 21 августа герольды в плащах с двуглавыми императорскими орлами разъезжали по улицам, трубя в трубы. На перекрестках они осаживали коней, эффектно разворачивали свитки, чтобы дорогая толстая бумага хлопала на ветру, и начинали громкими, дьяконскими голосами читать объявление о коронации. Народ сбегался поглазеть на красивых всадников, выскочивших в круговерть московской суеты из какой-то другой, ослепительной и изящной жизни.

Вечером заблаговестили ко всенощной все колокола — дружно и разом, вслед за Иваном Великим. Тепло разлилась над городом. А вместе с ней чувство покоя, какое бывает только на излете лета, когда работы закончены и можно еще поймать

несколько сладостных, ленивых дней.

С утра солнце сияло, как в мае. Весь Кремль был забит зрителями, хотя за ворота пускали только по билетам. От собора до собора брусчатку закрывало красное сукно для шествия государя. По обеим сторонам царской дороги, плотно сомкнув ряды, стояла гвардия.

Государь со свитой направился в Успенский собор. Началась служба. Впереди, на закрытом коврами помосте, Николай преклонил колени перед митрополитом.

К чему здесь можно было придраться? Однако нашлись обиженные. Тот же Дмитриев: император не одобрил его награждение. А потому самых темных красок не жалко: „Николай Павлович прочел Символ веры громко и молодецки!..Я не заметил на его лице не только никакого растроганного чувства, но даже и самого простого благоговения. Он делал все как-то смело, отчетисто, как солдат… на плац-параде“. Когда император со свитой возвратился в Кремлевский дворец, не удостоившиеся этой чести чиновники повлеклись смотреть регалии. Их поразила корона: „Я увидел, что крест погнулся на бок. Он состоял из пяти больших солитеров; основной, самый большой, камень выпал, и весь крест держался на пустой оправе. Нам показалось это дурным предзнаменованием“.

Разговоры, разговоры…

ПЕРСЫ

Город еще гудел весельем. Казалось, никто не вспоминал о повешенных. Когда прибыл Александр Сергеевич, его резануло это общее легкомыслие. Неужели никому, кроме друзей, до случившегося нет дела? „Москва оставила во мне неприятное впечатление“, — писал поэт Вяземскому 9 сентября. Но не расшифровывал, оставляя впечатления до личного разговора: „… лучше самим видеться, чем переписываться…“

Между тем Первопрестольная действительно оказалась равнодушна к вчерашним казням. Она погрузилась в шум праздника. Рука привычно выводит: „стараясь забыть“. Но правда состояла в том, что Москве в тот момент и забывать было нечего. Мало кто интересовался всплеском неповиновения в Петербурге. Это позднее, в минуты слабости и поражений, разночинные писатели припомнят правительству… Пока же оно сильно, такие, как князь Петр Андреевич Вяземский, останутся в меньшинстве. Чтобы это меньшинство стало подавляющим, нужна крупная неудача. Она замаячила, как перспектива, уже в дни коронации.

Посреди общего восхищения пришли известия из Персии. С этой секунды Бенкендорф, судя по мемуарам, думал главным образом о страшной дыре на Востоке — никак не о Пушкине. 16 июля войска восточного соседа напали на Закавказье. Момент в Тегеране считали удачным: шахзаде Константин и шахзаде Николай непременно станут оспаривать друг у друга корону, в России начнется смута. Восстание на Сенатской дало повод сомневаться в силе империи. И Россию немедленно взялись пробовать на зуб то с одного, то с другого бока.

Персы были только первыми. Следом маячили турки, поляки… А за их спинами заинтересованные кабинеты — Лондон, Вена, Париж. Эти игроки пока предпочитали действовать чужими руками. Возле шахского трона особенную силу показывали англичане. На коронации с самыми дружескими пожеланиями от них присутствовали дипломатические представители. Но именно английский посланник сэр Эдвард Дисборо обратил внимание своего кабинета на слабость нынешнего императора.

В „Меморандуме о заговоре“ в январе 1826 г. он писал: „Николай мог бы казнить мятежных офицеров, или, возможно, сделав некоторые уступки их взглядам, он пришел бы к согласию с родовитой знатью и правил бы мирно. Возможно также, что он стал бы окончательно ими порабощен… Но он показал им штык, и посредством штыка ему придется впредь ими управлять. Индивидуумы, являющиеся членами 150 знатных семей, находятся под арестом… С дворянством он находится в состоянии открытой войны… Офицеры этой армии — та же самая знать, и если это противостояние будет длиться далее…“ Кто знает, что тогда произойдет? Внутренние смуты и неспособность защищать свои границы. Как минимум.

Первые шаги персов были успешны. Под предводительством принца Аббас-Мирзы их войска „заняли Ленкорань и идут далее, имея до 60 тысяч войск регулярных и 60 тысяч войск иррегулярных и около 80 заряженных орудий“. Небольшой — всего 50-тысячный — Кавказский корпус под руководством Алексея Петровича Ермолова не смог организовать надежную защиту. Персы углубились в Грузию и Азербайджан.

Государь призвал к себе своего далеко не старого „отца-командира“ И.Ф. Паскевича и уговаривал его ехать на Кавказ, несмотря на трудные отношения с Ермоловым: „Я тебя прошу, сделай для меня это… Неужели я так несчастлив, что, когда только коронуюсь, и персияне — чего никогда не бывало — берут у меня провинции? Неужели Россия не имеет уже людей, могущих сохранить ее достоинство?“

Непривычный для императора тон. Но то были первые

месяцы царствования. Критический момент. И разговор с близким человеком, хорошо знавшим Николая I еще великим князем.

К тому же на следствии выяснилось много неприятного для „проконсула“ Кавказа Ермолова. И государь имел причины ему не верить. Впрочем, как и сам Бенкендорф. Декабрист Цебриков писал: „Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и потом смерть пяти мучеников, мог бы дать России конституцию, взять с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург“. Но Ермолов, имев настольную книгу Тацита и комментариев на Цезаря, ничего в них не вычитал».

Молодо-зелено. Только человек, не закаленный «долговременной опытностью» в делах, способен полагать, будто дивизию так уж легко снять. Весь корпус расквартирован — все равно что разбросан — по несколько тысяч человек в разных местах. Александр Христофорович, начинавший службу на Кавказе, эту арифметику знал хорошо. Ермолову перейти свой Рубикон и прыгнуть из «проконсулов» в «диктаторы» посложнее, чем Цезарю.

Но тот факт, что Алексей Петрович — сторонник Константина и намеренно задержал присягу, в военной среде известен. Сразу возникли домыслы: не намеренно ли командующий Кавказским корпусом впустил врага в русские пределы, чтобы удобнее ловить рыбу в мутной воде? В воде новой Смуты?

«НАДО БЫ СПРЫСНУТЬ!»

Никто не видел этой новой смуты ближе Александра Христофоровича. Весь день 14-го он был подле государя. Близ царя, близ смерти, как говорится. А вечером по горячим следам написал другу Михайле Воронцову в Одессу: «Если бы эта династия не занимала трон, ее следовало бы провозгласить». И вскоре получил ответ: «Когда же государь начнет нас щадить, а… [5] вешать?» «Нас» — значит тех, кто работает, держит на себе империю. О вторых и так ясно.

В ночь на 15-е Бенкендорф специально проехал по улицам. Мороз крепчал. Город был наводнен войсками и разделен на квадраты бивуаков. Полиция при свете факелов и костров очищала Сенатскую площадь от трупов. Еще никому в голову не приходило соскребать с тротуаров застывшую кровь. Руки-ноги бы собрать да сложить в сани. Вереницы возков, телег, розвальней, а на них не прикрытые рогожей люди ли, куски ли

людей — не поймешь.

Бенкендорф, проезжая верхом по набережной в сторону Галерной, остановил квартального надзирателя, чтобы спросить: сколько? За тысячу.

На зданиях вокруг окна до верхних этажей были забрызганы мозгами и кровью. В нише на стене Сената прежде стояли Весы Правосудия. Туда забрался народ, чтобы лучше видеть творившееся на площади. Первый залп картечи, такой мирный, по мысли государя, — поверх голов мятежников — попал по зевакам.

Бенкендорфа трудно было удивить кусками человеческих тел. Но менее всего хотелось продолжения. Не на поле боя, не в чужом краю. Тогда неясно было, полыхнет ли в Москве, Киеве, Варшаве? Юг, 2-я армия, Тульчин. Что будет там?

Когда генерал вернулся во внутренние комнаты дворца, они походили на бивуак. Беспрестанно являлись посыльные с донесениями командиров разных частей. Государь спать не мог. Он оставался в том же мундире, в который облачился утром, переодеться сил не хватало. Прилег на полчаса на стоявший в коридоре диван, закрыл глаза и тут же открыл.

Уже приводили арестованных. Генерал-адъютанту К.Ф. Толю было поручено снимать показания. Вскоре его сменил Бенкендорф. Он расположился на софе возле маленького столика под портретом покойного императора. Считалось, что смотреть в лицо Александру Павловичу бунтовщикам будет стыдно. «Мое намерение, — сказал тогда император Александру Христофоровичу, — не искать виновных, а дать каждому шанс оправдаться».

Полгода, как пустой сон. Кому-то из арестованных он сочувствовал. Кто-то его раздражал. Был суд, который вовсе не следовало бы считать фарсом. Документы готовил сам М.М. Сперанский — лучший юрист России, а может статься, и Европы. Реформатор. Однако и у него душа не принимала бунта. Слишком страшное «завтра» он сулил.

Однако хуже всего Бенкендорфу показался день казни. 13 июля.

В три, когда осужденных вывели, едва развиднелось, и люди с трудом могли рассмотреть собственные руки. Часовые молчали. Священник в предпоследний раз подошел с крестом. Бестужев-Рюмин плакал. Рылеев шел с поднятой головой. Он был жертва при заклании и верно понял свою роль: «Я умираю как злодей, да помянет меня Россия!»

Каховский молчал. Он все сказал на следствии. Горько сожалел о Милорадовиче. Негодовал на покойного императора. Уверял, что дальше будет хуже. Видел слезы молодого царя.

Слышал его отзыв: «Это человек, исполненный самой горячей любви к родине, но законченный изверг». Чего же больше? Утешаться тем, что ты единственный, кого государь действительно хотел помиловать?

Пестель вышел, понурив голову. Без речей. И как видно, молился. Он всегда много думал о Боге, только мысли его на сей счет иным казались странными. Вид виселицы привел полковника в замешательство: «Я полагал быть расстрелянным».

Тем временем из крепости стали выводить тех, кому надлежало только увидеть казнь. А самим подвергнуться позорному аутодафе с ломанием шпаг и сжиганием мундиров. Их было немногим более сотни. Удивленный ропот прошел над плацем, сжатым в каре первыми гренадерскими ротами гвардейских полков. Говорили, что в казематах побывало около полутысячи. Где же остальные? Менее всего верилось, что их отпустили.

Барабанная зыбь.

Чтение приговора.

Измученные люди, паче чаяния, оказались равнодушны к августейшему милосердию. Их смешила мрачная торжественность. Не трогало унижение перед товарищами. Бедный князь Сергей Волконский имел наглость раскланиваться со знакомыми, которые шарахались от него, как от зачумленного.

Заключенный в четвертое, сводное, каре Мишель Лунин, дослушав сентенцию суда, крикнул по-французски: «Прекрасный приговор, господа! Надо бы спрыснуть!» И тут же, скинув штаны, исполнил сказанное.

Его выходка была встречена с веселым сочувствием. В том смысле, что мочились они на прощение императора. И хотя больше никто примеру не последовал, но черта между осужденными и их вчерашними сослуживцами обозначилась резко.

На помосте между тем заканчивались последние приготовления. Раздался рассыпной барабанный бой, каким обычно сопровождают гонение сквозь строй, и уже не умолкал ни на минуту. Осужденным нахлобучили на головы белые мешки, накинули петли. Скамьи мерно подрагивали под ногами. Когда их вытащили, лишь две веревки упруго дернулись, оставив качаться коконы человеческих тел. По судорожному, быстро прекратившемуся движению ног было видно, что Пестель и Бестужев умерли сразу. Самый виноватый и самый молодой…

Но трое несчастных полетели вниз. Других веревок не было, пришлось посылать в лавки, по утреннему времени закрытые. Наконец достали втридорога и, чертыхаясь, начали прилаживать

заново. Опять явилась скамья. Послышался барабан, нервно выбивавший «зеленую улицу». Доска шатнулась, и новые веревки оправдали надежды.

Немногочисленная, но с каждой минутой прибывавшая толпа рванула было через заграждения к виселице в надежде поглумиться над трупами. В воздухе замелькали камни и палки. Но солдаты оттеснили зевак от места казни. Через два часа тела сняли и отнесли в Троицкую церковь для отпевания. На следующий день должен был состояться общий молебен за упокой тех, кто погиб на Сенатской площади.

Через неделю пришло письмо от друга Михайлы из Одессы: «Ни в одной другой стране пятью виселицами дело бы не ограничилось».

«КАК Я БОЯЛСЯ, КАК БЕЖАЛ»

Какое из этих страшных событий подтолкнуло государя к решению о Пушкине? Паскевич, конечно, все исправит на Кавказе. Но и здесь, «во глубине России», необходимо склонить чашу весов в пользу молодого императора. Коронационные торжества — прекрасное время для помилования.

Дорога из Михайловского до Москвы заняла четыре дня. Ровно вдвое больше, чем у фельдъегеря Вальшема в одиночку. «Без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не делается», — писал поэт соседке П.А. Осиповой. Сопровождающий имел строжайшее предписание забрать Пушкина и без промедления доставить к императору. Ожидать от такой спешки добра не стоило. Сам Вальшем ничего не знал и, кажется, думал, что везет смутьяна на расправу.

С собой Пушкин захватил «Пророка», намереваясь при встрече зачитать царю:

> Восстань, восстань, пророк России!
> Позорной ризой облекись,
> Иди и с вервием вкруг выи
> К у[бийце] г[нусному] явись!

Так, с обличением у сердца, поэт проделал весь путь, крайне возбужденный и на вид совсем больной. 8 сентября около четырех пополудни экипаж прибыл к канцелярии дежурного генерала. А уже оттуда поднадзорного препроводили в Чудов дворец в комнаты императора.

Многие, кто был представлен Николая I после коронации,

отмечали, что император не походил на себя. Чиновник Ф.Ф. Вигель вспоминал: «Отворилась дверь, и вышел человек весьма еще молодой, высокого роста, тоненький, жиденький, беленький, с нагнутыми несколько плечами и со взглядом совсем не суровым, каким ожидал я его. Откуда взялись у него через два года спустя, вместе со стройностью тела, эти богатырские формы, эти широкие грудь и плечи, это высоко поднятое величественное чело? Тогда еще ничего этого не было».

Но Пушкин видел Николая Павловича раньше. Он оставил его портрет на полях поэмы «Руслан и Людмила», написанной фактически к бракосочетанию великого князя с прусской принцессой Шарлоттой, в православии Александрой Федоровной. Тогда, в 1817 г., камер-паж П.М. Дараган описывал Николая: «Он был очень худощав и оттого казался еще выше. Облик и черты лица его не имели еще той округлости, законченности красоты, которая в императоре так невольно поражала каждого и напоминала изображение героя на античных камеях».

Никаких камей. «Худенький, жиденький», совсем не строгий. Менее всего похож на «убийцу». Тем более на «гнусного».

В поэме «Тазит» 1829 г. Пушкин описал встречу молодого горца с кровным врагом, которого герой не может убить из сострадания.

Отец: Кого ты видел?
Сын: Супостата.
Отец: Кого? кого?
Сын: Убийцу брата.
Отец: Убийцу сына моего!..
Приди!., где голова его?
Тазит!.. Мне череп этот нужен.
Дай нагляжусь!
Сын: Убийца был
Один, изранен, безоружен…

В поэме, узнав, что юный горец не совершил «долга», отец прогоняет его словами: «Ты трус, ты раб». И желает: «Чтоб мертвый брат тебе на плечи/ Окровавленной кошкой сел/ И к бездне гнал тебя нещадно».

Если учесть, что «братьями» Александр Сергеевич называл и пятерых повешенных, и сосланных в Сибирь, чья «участь ужасна», то возникает обоснованное сближение.

Закономерен вопрос: кто из двоих был в тот момент слабее? Кто в ком нуждался? И сразу же неумолчный хор голосов ответит: император после «расправы» с декабристами нуждался в авторитете Пушкина. Его возвращением он прикрыл самого себя от стрел «общественного мнения». Недаром княжна А.И.

Трубецкая заявила: «Я теперь смотрю другими глазами на государя, потому что он возвратил Пушкина». Ее мнение как бы вобрало в себя десятки подобных же, разбросанных по пушкинской мемуаристике.

Но есть еще и слова самого поэта. В 1835 г. в переводе Горация он рассказал о времени, когда «за призраком свободы» его и молодых друзей «Брут отчаянный водил»:

Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал,
И спас от смерти неминучей.

В реальности все было менее «античным»: печка, продрогший гость, его царственный собеседник, явно не знавший, как себя вести. Сам Николай рассказывал в присутствии М.А. Корфа, старого соученика поэта по Лицею: «Я впервые увидел Пушкина… после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения, совсем больного, и в ранах… „Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?“ — спросил я его между прочим. „Был бы в рядах мятежников“, — отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным».

Сколько раз отечественное литературоведение раскаивалось за Пушкина в этом рукопожатии! А сам поэт? В его отношениях с императором бывали и восторги, и обвинения, и усталость друг от друга. «Что же, — продолжал Николай I свой рассказ, вслед за тем он без моего позволения и ведома уехал на Кавказ!»

А мог бы вспомнить и чтение по московским гостиным «Бориса Годунова», и «Гаврилиаду»… Но что простил, то простил, Предоставим снова слово Вигелю, который отлично передал катарсис, пережитый при встрече с императором: «Когда с улыбкой он обратил ко мне несколько приветливых слон, то в одну секунду мой страх превратился в неизъяснимую радость… опять полюбил я жизнь и ею рад бы был пожертвовать для него».

Но все могло в одну секунду перемениться. Если бы достоянием гласности стал тот вариант «Пророка», где исследователи из букв «У. Г.» восстанавливают «убийцу

гнусного». Рассказ о «каких-то очень подозрительных стихах», которые Пушкин обронил ни то на дворцовой лестнице, ни то дома у С.А. Соболевского, передают несколько свидетелей: П.А. Ефремов, А.В. Веневитинов, затем П.И. Бартенев со ссылкой на Н.А. Полевого, А.С. Хомяков в письме к И.С. Аксакову.

Хотя самый страшный вариант последней строки «Пророка» известен только благодаря Полевому, учитывая его, можно понять предостережение управляющего III отделением М.Я. Фон Фока в письме Бенкендорфу 17 сентября: «Говорят, что государь сделал ему (Пушкину. — *О. Е.)* благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему».

Глава 2
«САМОЗВАНЕЦ»

В первый раз Бенкендорф предметно столкнулся с Пушкиным не по поводу «Пророка» или даже «Андрея Шенье». А по поводу досадного недоразумения — поэт без спросу читал у друзей «Бориса Годунова». Как говорится, давши слово — держись… А Пушкин дал слово.

И тут же нарушил. Даже не предав случившемуся значения.

И не он один. В знаменитом письме 1837 г. шефу жандармов Жуковский удивлялся: «…Нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писавших не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным?»

А.С. Пушкин. Художник И.-Е. Вивьен де Шатобрен

В каком свободном мире, по сравнению с русским XX в., жили эти люди!

Слова Жуковского справедливы: «Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя». Тем не менее Пушкина только что освободили. В отношении его все дули на воду. Кроме самого поэта.

ДАВШИ СЛОВО, КРЕПИСЬ

Если бы Александр Христофорович интересовался литературными новинками, то он бы знал, что Пушкин далеко не всегда держит обещание. И делает это вовсе не из легкомыслия. Как произошло, например, в истории с Петром Андреевичем Вяземским — ближайшим другом и в годы южной ссылки едва ли не душеприказчиком поэта.

К моменту освобождения именно ему Пушкин был обязан половиной своей популярности. Когда император Александр I отправил поэта в Кишинев, тот никому не был интересен, кроме своих же молодых крикунов. Четыре года, проведенные в ссылке, фактически создали ему имя. Кто бы мог подумать, что шалопай так распишется! Поначалу ныл из Кишинева, ныл и из Крыма. Ни друзей, ни забав. Потом пообвыкся, стал со скуки марать бумагу. Пока в столицу шла мелочь, ею тешились барышни и молодые офицеры. Денег на безделках не заработать. Но когда появились «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», этим уже можно было торговать.

В одночасье из знаменитого Пушкин стал коммерческим автором. Вяземский заворожил издателей горькой участью поэта — ничто так не возбуждает интерес публики, как гонения правительства. Договорился о невиданном тираже — 1200 экземплярах, — который книготорговцы с колес взяли «в деньги», то есть раскупили подчистую, выложив три тысячи рублей. По пятьдесят целковых за строчку! Каково? Особенно если вспомнить, что «Руслан и Людмила» принесли автору всего пятьсот рублей.

Блестящая сделка! Сама по себе талантливая рукопись не гарантирует продаж. Коммерческий успех складывается из усилий многих: издателей, офень и даже хорошеньких сплетниц, разъезжающих из дома в дом со скандальными новостями об авторе. Одной из таких сплетниц была супруга самого Вяземского — княгиня Вера Федоровна. Даже согласно воспоминаниям сына

Павла, она, сколько могла, раздувала южные похождения поэта.

«Фонтан» окатил публику с головы до ног. Вместо предисловия Вяземский написал статью о романтизме. Досталось всем любителям классического старья. Предисловие наделало шума, разом превратив далекого поэта во флаг нового направления, а близкого критика — в начальника штаба при гениальном, но сумасбродном полководце.

Вскоре сладился и журнал «Телеграф» вместе с Николаем Полевым — орган романтизма. Пока Пушкин оставался в ссылке, можно было говорить от его имени. Но поэт уехал из Одессы 31 июля 1824 г. и очень скоро осознал собственную силу.

Чем севернее уходил тракт, чем «образованнее» становились города, чем больше на станциях толклось офицеров и чиновников, тем чаще, услыхав фамилию Пушкин, проезжающие кидались к поэту, норовя носить его на руках. Только теперь гонимый странник осознал, кем сделала его судьба в обмен на несчастья. Любой стол был для него накрыт, любая кампания почитала за честь пригласить к себе.

Слава сразу вскружила Александру Сергеевичу голову. Несмотря на клятвы, данные в письмах с юга, он, чуть только оказался в досягаемости Петербурга, отправил роман в стихах столичному издателю — П.Н. Плетневу. Вяземский, уже успевший оповестить всех, что скоро, скоро в «Телеграфе»… оказался в ложном положении. Выходило, будто он неправедно присвоил себе место душеприказчика ссыльного поэта.

Была ли со стороны Пушкина то неблагодарность? Или попытка показать, что ни им, ни его произведениями никто не смеет распоряжаться?

Теперь в подобном же положении должен был оказаться император. Уже в письме Пушкина 11 мая имелась если не ложь, то двоякость. Во-первых, было сказано, что поэт «исключен из службы» за легкомысленное письмо об атеизме. На деле он сам добивался отставки. Во-вторых, давая подписку «… обязуюсь впредь никаким тайным обществам… не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них», Пушкин забыл и о Кишиневской масонской ложе, в которой состоял, и своей осведомленности относительно заговорщиков. По его письму Жуковскому января 1826 г. выходило иное: «… правительство… в журналах объявило опалу и тем, которые имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам».

Преувеличение, конечно. Но допустимое. Сам Александр

Христофорович знал «о заговоре» с 1821 г. и составлял на имя императора Александра I докладную записку.

Библиотекарь гвардейского штаба Грибовский осмелился подать через него донесение на высочайшее имя: «Состоя с прошлого года членом Коренной управы „Союза благоденствия“, думал я поначалу, что радение сего общества направлено ко благу человечества и ко смягчению в Отечестве нашем тягостных порядков крепостного уклада. Однако же весьма скоро убедился, что товарищи мои, большею частью люди молодые и поверхностно образованные, видят единственным способом достижения благородных целей кровавое возмущение. Руководят ими лица высокого положения. Николай Тургенев, Федор Глинка, Муравьевы, Михаил Орлов, Оболенский, Якушкин…»

Уже поле дела 14-го Бенкендорфу довелось разбирать бумаги покойного государя Александра I. Нашел докладную записку 1821 г. Если бы тогда же задумались… Не угодно было принять.

Пророком он себя, конечно, не считал. Одна «долговременная опытность»… Теперь эта опытность подсказывала, что с прощенным поэтом все не так просто. «Этот господин известен за философа, — писал о Пушкине управляющий делами III отделения М.Я. Фон Фок, — который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к… житейским наслаждениям. Этот честолюбец, пожираемый жаждою вожделений… имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить, при первом удобном случае».

«КОГДА ВООБРАЖАЮ…»

Не следует, конечно, одевать Бенкендорфу очки Фон Фока, у шефа жандармов имелись свои глаза. Но легко было обмануться. Ведь в донесении управляющий рисовал типичного байрониста, денди, каким Пушкин хотел казаться людям посторонним и какого нередко разыгрывал даже перед близкими друзьями, например перед князем Вяземским.

«Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? — писал ему друг в мае, еще до возвращения из ссылки. — Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь. Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и [шлюх], то мое глухое Михайловское наводит на меня глухое бешенство».

«Слобода» была дана. А вот право покидать страну к ней не прилагалось. Жуковский был возмущен этим обстоятельством:

«Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждение видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России».

Почему? Пушкина, из-за юношеских стихов, которые использовались в агитации заговорщиками, считали «прикосновенным» к делу 14 декабря. Сам поэт близости с мятежниками не отрицал даже в царском кабинете. После разговора с Николаем I он получил право уехать из Михайловского, жить в Москве и публиковаться после личной цензуры императора.

В рамках названного разрешения и действовали власти. Эта тонкость обычно не учитывается, когда заходит речь об освобождении Пушкина из ссылки. Никакого полного доверия быть не могло. Двоякость оставалась обоюдоострой.

Между тем в Москве осени 1826 г. повторялась картина дорожного триумфа. Друзья наперебой спорили, у кого в самый первый раз прошло чтение «Годунова»: у Соболевского, Вяземского, Зинаиды Волконской или Веневитиновых.

Наблюдать забавы черни Пушкин не пошел. «Сегодня 15 сент[ября], у нас большой народный праздник, писал он Осиповой, — версты на три расставлено столов на Девичьем поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть… но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот — злоба дня».

Даже император оставил во дворце мать и супругу — не женское зрелище, вдруг толпа поведет себя в лучших традициях народного гулянья? Но обошлось.

«Огромное количество людей наполняло улицы… — вспоминал Бенкендорф, — все это заставляло опасаться драк и беспорядков. Тем не менее ни единый случай не… омрачил праздник… Даже на народном празднике, устроенном за пределами города, где собралось более 100 тысяч человек, разгоряченные раздаваемым бесплатно и в огромном количестве вином… к большому удивлению иностранцев, при приближении императора народ выказывал уважение. Люди собирались и толпились вокруг него, не затрудняя его проезда, не совершая насилий и не пользуясь сложным положением и бессилием полиции с тем, чтобы обворовать или оскорбить кого-нибудь».

А вот недоброжелательный Дмитриев иначе изобразил картину: «Праздник кончился в несколько минут. Русский народ жаден и не способен ни к покойному наслаждению, ни к порядку; удовольствие для него всегда сопровождается буйством.

По первому знаку толпа бросилась на столы с остервенением;

а никакая сила не удержит воли, когда не удерживает ее закон моральный и приличие. В несколько минут расхватали пироги и мясо, разлили напором массы вино, переломали столы и стулья, и потащили домой кто стул, кто просто доску в полной уверенности, что это не грабеж, потому что все это царем пожаловано народу».

Пушкин, когда ему рассказывали о событиях на Девичьем поле, удивлялся: «Как же не подрались?…Надо было подраться». В традициях деревенской свадьбы. Значит, столы ломали, но никого не убили. Чем уже следовало гордиться.

Сам Александр Сергеевич погрузился в восторженные клики старой столицы. Елена Николаевна Киселева, в девичестве Ушакова, одна из юных нимф, которым в дар приносил свое сердце поэт, вспоминала о его приезде в Большой театр: «Мгновенно разнеслась по зале весть… имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все балконы обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою». «Публика глядела тогда не на сцену, а на своего любимца», — добавлял Кс. А. Полевой. Он находился «на высшей степени своей популярности», — заключал Н.В. Путята. «На всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя… дамы выбирали поэта беспрерывно», — сообщал С.П. Шевырев.

Немудрено забыться. И Александру Христофоровичу надлежало напомнить. Хотя, видит Бог, душили другие дела.

«КАКАЯ РАЗНИЦА?»

Бенкендорф, что называется, зашивался с новым ведомством. Полным ходом шли формирование, подбор офицеров, трения с Министерством внутренних дел, вельможные кляузы. Огорчений хватало.

Вот характерный случай. Поручик П.М. Голенищев-Кутузов, адъютант Бенкендорфа по кирасирской дивизии, описал в мемуарах разговор с шефом. После учреждения Жандармского корпуса Александр Христофорович обратился к нему со словами: «Здравствуйте, господин жандармский офицер!» Юноша онемел. Потом собрался с силами и объяснил, что не может надеть голубой мундир: «Ваша служба уже известна всей России, и вы можете восстановить и облагородить этот мундир в глазах нации; мне же в моих летах (мне было 25 лет) и в малом чине невозможно начинать военную карьеру жандармом».

Что тут скажешь? Какие слова подберешь? Что офицерами жандармов назначают одних добромыслящих, отменного

поведения и столь же отменного образования молодых людей? Что жалованье у них выше, а служба не в пример любопытнее, чем в гарнизонах? Но поручик уже все сказал: не хочет быть доносителем.

Однако было и другое, чего оба собеседника предпочитали не касаться. Бенкендорф знал, что его подчиненных — всего 16 офицеров III отделения — унижают и травят в глаза и за глаза. Что некоторым отказывают от дома знакомые, а с иными не здороваются родные. Например, министр юстиции князь Д.В. Дашков выставил племянника. Чтобы надеть голубой мундир, нужна была известная дерзость. А Голенищев-Кутузов, несмотря на благородные порывы, прогнулся.

Шеф жандармов мог загнать юношу за Можай: устроить перевод в такой медвежий угол, откуда не в меру щепетильный адъютант не выслужился бы до гробовой доски. Но Александр Христофорович не отличался мстительностью. Он даже не помешал поручику остаться в лейб-гвардии.

Что офицеры? Над ним самим осмелился посмеяться великий князь Константин Павлович. Вот кого Бенкендорф недолюбливал. За медвежьей бестактностью — тонкие намеки.

Князь Вяземский приводил восклицание цесаревича, впервые увидевшего шефа жандармов в голубом мундире: «Савари или Фуше?» И отзыв Александра Христофоровича: «Савари, порядочный человек». На который Константин только пожал плечами: «Да какая разница?» Вяземский пояснял: «Савари и Фуше были оба министрами полиции при Наполеоне I, причем Савари пользовался всеобщим уважением, Фуше напротив».

А Пушкин, кажется, был не против Константина на престоле. После смерти Александра I, в междуцарствие, еще до роковых событий на Сенатской, ссыльный писал П.А. Катенину: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем… К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Разве Александр I был глуп? Бенкендорф мог бы многое рассказать о втором из сыновей вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Наблюдал с детства.

Что умен, правда. Только ум у него с подвывертом. Как у покойного Павла. Больной, изощренный. К делу не приспособить.

И эта история с «Самозванцем» вся как-то связана с Константином. Но потом, потом… Пока формирование структуры. Укусы тех, кто Бенкендорфу по плечу, то есть

министров. Ведь цесаревич — не его уровень. Здесь одна защита — император. Есть люди пониже, от которых зла не меньше. Хотя общество изнывает от злоупотреблений, и благонамеренные обыватели называют жандармский устав — уставом «Союза благоденствия».

Еще во время коронации Фон Фок доносил из Петербурга: «Теперь слышится со всех сторон: „Пора положить преграду грабежу и наказать взяточников“… Доносы посыпятся градом… В продолжение двадцати пяти лет бюрократия питалась лихоимством, совершаемым с бесстыдством и безнаказанностью… Ремесло грабителя сделалось уж слишком выгодным. Комиссионеры (чиновники, берущие комиссию, взяточники. — *О.Е.)* на все решались, все делали, ни в чем себе не отказывали… Правительству предстоит выбрать одно из двух: или допустить ужасное зло, или прибегнуть к реформе… и найти в этом средство к исправлению старых несправедливостей».

О какой реформе речь? И откуда взялся срок — четверть века? Под реформой понималось учреждение надзора, важнейшей задачей которого стала вовсе не борьба со свободомыслящими литераторами, а контроль за исполнением законодательства на центральном и местном уровнях — от министров до городничих. О чем свидетельствуют отчеты III отделения.

Уточнение «за последние двадцать пять лет» — вовсе не случайно. Оно как бы охватывало царствование Александра I, но острие критики направлено не на него. Каждый знал: за войну чиновники распоясались — стали брать «не по чину». А «война» для людей того времени охватывала не только грозный 1812 г. и Заграничный поход русской армии. Противостояние с революционной Францией началось в конце XVIII в., продолжалось в антинаполеоновских коалициях и, едва завершившись с выводом русских оккупационных корпусов из-за границы, вновь дало о себе знать полосой европейских революций 1820-х гг.

Почти четверть века внимание правительства было приковано к внешней политике. Чтобы действовать без помех, требовался внутренний мир — чиновников старались не трогать, не злить частыми проверками, не подвешивать над их головами дамоклов меч. Результатом стало ощущение «безнаказанности», о котором писал Фон Фок.

Попытки ревизовать отдельные случаи «злоупотреблений» лишь оттеняли общую безрадостную картину. В таких проверках участвовали и сам Бенкендорф, и Паскевич, за плечами которых стояли армейские дивизии, обеспечивавшие независимость от местных властей.

Вопиющее положение обусловило и характер мер верховной власти. Николай I предпринял попытку создать аппарат способный сломить сопротивление чиновников, разрушить их круговую поруку и ввести деятельность администрации в рамки закона.

3 июля 1826 г. именным указом было образовано III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которому подчинялся Корпус жандармов. В отделении в разное время служило от 16 до 40 человек, в корпусе — более четырех тысяч (204 офицера, в том числе 3 генерала, 3617 рядовых и 457 нестроевых чинов).

Много или мало? Предполагая создать аналогичные органы, подчиненные новой революционной власти, Пестель называл 50 тысяч человек. В тот же период во Франции насчитывалось 20 тысяч жандармов, в Австрийской империи 19 тысяч. Россия держалась на одной планке с Пруссией, где на 100 тысяч человек приходилось 8 жандармов. Рядом, в Саксонии — 10, в Ганновере — более 20, в Брауншвейге — 40, в Баварии — 50.

Таким образом, представление о «всевидящем оке» и «всеслышащих ушах» отражало скорее не реальность, а субъективное мироощущение образованного человека второй четверти XIX в. При всем желании… «некем взять», как говорил покойный Александр I. Малое число жандармских и полицейских чинов упиралось в невозможность казны содержать больше. Так, в 1827 г., по сведениям III отделения, в Калужской губернии насчитывалось всего 200 полицейских. Поднатужившись, казна смогла потянуть 260 человек на приблизительно 400 тысяч жителей. Жандармских чинов служило в губернии до четырех, но их состав быстро рос и в конце царствования составлял уже 34 человека. Огромная сила! Крайней малочисленностью объяснялись и широкие полномочия «блюстителей порядка», которым не только «три года скачи, ни до какой границы не доскачешь», но и ни до каких других властей.

«ЧЕРНАЯ ТУЧА»

Малочисленность полиции, обусловленная возможностями — вернее, невозможностями — казны, объясняла постоянные упования III отделения на нравственность и религиозность народа. Только повиновение заповедям позволяло надеяться, что подданные не затопчут служителей порядка, а потом и друг друга.

Поставленные перед Корпусом жандармов задачи были для

русского общества новыми. Когда последовали первые аресты в Министерстве финансов, то в Петербурге решили, что все еще продолжают хватать причастных к делу 14 декабря.

Между тем на золотых приисках, где благодаря воровству казна получала только треть от добытого, убийства проверяющих происходили регулярно. В начале царствования на западных границах Жандармский корпус вел настоящие войны с разбойничьими шайками. Жители Курляндской, Лифляндской и Витебской губерний, некогда принадлежавших Польше и не отличавшихся богатством, получали паспорта, позволявшие им попасть в более благополучные центральные районы страны, и целыми партиями направлялись грабить. Чтобы осуществлять их переброску через Виленскую губернию, необходимо было попустительство местной администрации и даже местной полиции.

Последняя была из рук вон плоха. Об этом в голос кричали жандармские донесения с мест. Тот же Бибиков в конце письма о Пушкине прямо говорил: «Я вынужден, генерал, входить с вами во всякого рода подробности, потому что вы вовсе не должны рассчитывать на здешнюю полицию: ее как бы не существует вовсе, и если до сих пор в Москве все спокойно», то сие стоит приписать милости Божией и «миролюбивому характеру» русских обывателей.

Глубоко неверна точка зрения, будто Пушкин, находившийся при Александре I под надзором полиции, как бы «перешел по наследству» к III отделению. Это были разные, подчас враждовавшие друг с другом учреждения. Тот факт, что поэта изъяли из ведения полиции и как бы частным образом отдали под присмотр Бенкендорфа, говорил о статусе бывшего опального в глазах императора.

Следили за Пушкиным, вопреки мнению советских исследователей, спустя рукава — иначе он не смог бы ни удрать на Кавказ, ни затеять роковой дуэли. Вероятно, в присмотре за поэтом не видели дела первоочередной важности. Пушкин стал неприятным бонусом — ложкой дегтя в бочке меда, под которой понималось само создание ведовства. Ведь Бенкендорф подавал проекты о введении жандармерии с 1807 г. — почти двадцать лет.

С самого начала своего существования III отделение участвовало в проверке гражданских чиновников на местах. В 1833 г. жандармский полковник А.П. Маслов сообщал из Тобольска: «Здешнее начальство… и городничий учредили за мной полицейский надзор столь явным и дерзким образом, что я не могу сделать шага из моей квартиры, чтобы не быть преследуемым. По ночам расставляются и конные надсмотрщики,

дающие знать в полицию, когда я выезжаю, возвращаюсь, кто ко мне ездит и тому подобное». Собирать сведения в таких условиях было практически невозможно.

Что Тобольск? За Фон Фоком полиция следила в самом Петербурге, не выпуская на улицу. Генерал-губернаторы обеих столиц надеялись, что новое ведомство подчинят непосредственно им. В III отделении видели просто вторую полицию, заведенную правительством с перепугу после 14 декабря.

Нельзя сказать, чтобы бюрократический аппарат выразил восторг по поводу контрольных функций, которые возложила на себя канцелярия императора. Ф.Ф. Вигеля, приятель Пушкина времен южной ссылки, а в тот момент градоначальник Керчи, писал: «Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров, которые должны были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли все исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных? Даровать таким людям полную доверенность значило лишить ее все местные власти, высшие и низшие… Вся спокойная, провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить, какая деморализация должна была от этого произойти!»

Обратим внимание на слово. Оно употреблено не совсем в современном значении. В 1817 г. Бенкендорф во время одной из проверок писал Воронцову, что «наших чиновников не деморализуешь ни пехотой, ни артиллерией». Через десять лет самим фактом учреждения высшего политического надзора он этого добился. Как человеку военному, ему было очевидно, что после артобстрела противник захвачен врасплох, сбит с толку, спешно покидает неудобные позиции, в его рядах начинаются паника и хаос. Следом идет атака конницы. А Бенкендорф был лихим кавалеристом…

Но и позиция Вигеля понятна — сам гражданский чиновник, он не терпел вмешательства офицеров в систему управления. Не поладил с генерал-губернатором Одессы Воронцовым, сетуя, что из его канцелярии, где засели бывшие штабные русского Оккупационного корпуса во Франции, «решения вылетают с такой же скоростью, с которой туда влетают прошения», а сами новоявленные канцеляристы «не могут отличить докладной записки от рапортички». Мало ли что население довольно — делопроизводственный порядок «страждет».

Бенкендорфа он называл «пустоголовым», голубой мундир «одеждою доносчика, производившей отвращение даже в тех, кто

его осмеливался надевать», а III отделение — «черной тучей, облекшей Россию» и не позволявшей «наслаждаться счастьем в первые годы царствования справедливейшего из государей».

Однако трудно было питать «доверенность» к «высшей и низшей» администрации после того вала жалоб, который пошел в Сенат. Они показывали степень коррумпированности чиновников, в первую очередь полицейских и судебных. Место квартального надзирателя, например, приносило ежегодно, помимо скромного жалованья, более 3 тысяч рублей дохода.

Полиция, крайне недовольная тем, что из ее состава вывели Особенный департамент, всячески старалась подмять под себя новое ведомство. Жандармские функционеры обижались и со своей стороны не щадили в отчетах ни Министерства внутренних дел, ни юстиции, где зло «видимо, но ненаказуемо». *«Я* поседею от этого… — рассуждал Бенкендорф накануне войны с Турцией в 1828 г. — Когда интриги превзойдут меру моего терпения, я попрошу место… во главе какой-нибудь кавалерийской части». Но оставить «интриги позади фрунта» никак не удавалось.

И вот на фоне этих препирательств явилось дело о «Борисе Годунове». Сказать, что оно было для Александра Христофоровича лишним и связанные с ним вопросы решались на колене, — значит ничего не сказать.

«ВОЛЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВА»

После свидания Пушкина с государем Бенкендорф, конечно, согласился приглядывать за поэтом. Кто же отказывает императору? Вероятно, генерал полагал, что с прощеным не будет серьезных хлопот. Он еще не знал, что ему вручают одну большую проблему, для занятия которой следует выделить особый департамент.

22 ноября 1826 г. Александр Христофорович направил Пушкину вежливейшее послание, в котором напоминал, что уже писал к поэту однажды, но не получил ответа. Момент исключительно важный — от него зависели дальнейшие отношения, а они были уже заранее испорчены.

«При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения» впредь представлять все новые произведения до их обнародования «через посредничество мое или даже прямо его императорскому величеству». Из сторонних слухов Бенкендорф должен был заключить, что первое письмо дошло, «ибо вы сообщили о содержании оного некоторым

особам». Несмотря на прямую просьбу императора, трагедия была читана, а письмо оставлено без ответа.

Некрасиво получилось. «Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере великодушного к вам монаршего снисхождения», — заключал Бенкендорф. Это была почти угроза.

Подчеркнутая, преувеличенная вежливость в те времена — род оскорбления. Но сам Александр Христофорович свою пощечину уже получил. Его первое письмо от 20 сентября нарочито не заметили. Оставили без ответа. А ведь Бенкендорф теперь занимал не ту должность, чтобы его обращениями манкировали.

Пушкину пришлось извиняться: «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо…» Что за игры? Письмо всегда требует ответа. Даже в наш вульгарный век. А тогда жили люди воспитанные…

Пушкин умел ясно показать, чего хочет и как себя трактует. Отсутствие ответа на письмо Бенкендорфа — жест, который обладал знаковостью. Александр Сергеевич демонстративно не замечал шефа жандармов, подчеркивая, что говорит прямо с царем. В письме Вяземскому 9 ноября рассказано именно о паре поэт — царь: «Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о *умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Если третий и возможен, то только молящий Бога за двух первых. Активная роль для него не предусмотрена. Он, как в любовном треугольнике, — лишний.

Сердце владыки действительно «умилилось», потому что, прочитав ответ поэта про чуждость деловым бумагам, Николай I писал Бенкендорфу, что «совершенно очарован Пушкиным». Человек из другого мира! А они-то, грешные, все про деловые бумаги… При этом на прямое общение с прощенным император не выходил. Хватило одного разговора.

Поэту напомнили: к нему приставлена усатая нянька, с которой отныне предстоит общаться. Чего только не говорили по поводу этой досадной фигуры, вклинившейся между царем и поэтом, «ограничивая добрые намерения первого и стесняя великий талант второго». Называли Бенкендорфа «неизбежным посредником», который предлагал Пушкину царские решения в «холодно-издевательском тоне». Особенно почему-то пеняли за вежливость посланий, как если бы шеф жандармов должен был кричать на Пушкина, топать ногами и рукоприкладствовать. Оба

были светскими людьми, а значит, старались не нарушать приличий.

После второго письма, когда поэт понял, что глава III отделения от него не отстанет — такова высочайшая воля, — Пушкин извинился незнанием, недопониманием и даже тем, что ему «было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями… человека государственного, среди огромных его забот».

Изысканная вежливость в ответ на изысканную же вежливость. И сразу у издателей — М.П. Погодина и С.А. Соболевского — были остановлены уже отданные в печать стихи. Зачем передавал? Думал, что проскочат? Но «такова воля высшего начальства», и Пушкину «уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову».

Могло быть иначе? Николай I сам поставил между собой и вчерашним ссыльным «интервал» в виде шефа III отделения — как бы отодвинул его от себя на расстояние вытянутой руки.

Попробуем понять почему. Прежде всего этикетные тонкости. Государя воспитывали весьма сурово и нарушений субординации он не любил, разве только позволял их сам. В те времена не принято было, чтобы чиновник X класса, как бы того ни хотелось биографам гения, разговаривал с государем прямо. То есть через головы тех, кто стоял на служебной лестнице выше его.

Назначая для Пушкина «куратором» генерала Бенкендорфа — II класс по Табели о рангах, — император уже до невозможности сокращал дистанцию. Это был прямой путь «в чертоги». Картина «Царь — Поэт», такая привычная для сегодняшнего читателя, не существовала в сознании современников. Лишь немногие из них привыкали мыслить «поверх чинов».

Кроме того, Александр Христофорович, хоть и обладал впечатлительным, холерическим темпераментом — французским характером, как тогда говорили, — тем не менее за годы и годы службы научился себя сдерживать. Он умел быть вежлив не только когда хотел, но и когда надо.

Николай I подобной сдержанностью не отличался. Он был гневлив. И даже подчас криклив. Всю жизнь старался удерживать бурный темперамент. Раскаивался в сказанных словах. Но максимум чему научился — извиняться за свое поведение. Ценное для монарха качество, особенно если оно касалось и дежурного камер-пажа, и казака-возницы. Накричал — виноват. Простите.

Но срываться на Пушкина император, видимо, не хотел. А тот вел себя… очень свободно. Вот рассказ об их первом разговоре чиновника III отделения М.М. Потапова: «Поэт и здесь вышел

поэтом; ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошло до того, что он, незаметно для самого себя, приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: „С поэтом нельзя быть милостивым!“».

В приемной А.Х. Бенкендорфа. Неизвестный художник

А то что? Сядет на шею?

Этот случай, приводивший в восторг поколения пушкинистов — какая непосредственность! — в глазах современников, людей с детства скованных манерами, — выглядел скандально. Шокирующе.

Показателен случай с В.К. Кюхельбекером, которого 26 октября 1827 г. перевозили в крепость Динабург. По дороге на станции Залазы кибитка остановилась, и старый лицейский друг увидел Пушкина. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили, — писал сам Пушкин. — Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал.

Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».

Фельдъегеря Пушкин напугал не на шутку. Тому не понравились ни поцелуи, ни разговоры друзей. Он велел другим сопровождающим везти арестанта дальше, а сам задержался

заплатить прогоны. Тут «г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству… и генерал-адъютанту Бенкендорфу… это тот Пушкин, который сочиняет».

После первой встречи Ф.В. Булгарин заметил, что поэт «дитя по душе». Но дети бывают и лукавыми, и капризными, и драчливыми. Когда Пушкин сказал фельдъегерю, что сам «был посажен в крепость, а потом выпущен», он не просто заврался, а искренне верил в свои преувеличения. Ссылки же на императора и Бенкендорфа имели целью запугать сопровождение Кюхельбекера.

Во время разговора с государем Пушкин сказал, что Вильгельм Карлович ему как брат. Николай I напомнил события на Сенатской, когда Кюхельбекер стрелял в его родного брата — Михаила Павловича. На следствии великий князь Михаил выступил ходатаем за Кюхельбекера, прося для него снисхождения. Благодаря его рыцарскому поступку Вильгельма Карловича не повесили. Но и смотреть на Кюхлю глазами Пушкина император не мог.

Чтобы избежать подобных сцен, Николай I и поставил перед поэтом препятствие в виде Бенкендорфа.

«ВЕНЕЦ ЗА НИМ!»

Пушкин уверял шефа жандармов, что посылает ему единственный рукописный экземпляр «Бориса Годунова», и просил вернуть. Теперь следовало ознакомиться с текстом. Но… и императору, и Александру Христофоровичу было некогда. Они скорее просматривали, чем читали.

Между тем многие места после 14 декабря звучали подозрительно.

Вот Самозванец допрашивает пленного о делах в русской столице. Тот отвечает:

Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся, — глядь — лазутчик уж и вьется,
А государь досужею порою

Доносчиков допрашивает сам.

Вот бояре обсуждают порядки при Годунове, и Пушкин говорит Шуйскому:

…он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ли мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.

Монолог царя Бориса, начинающийся словами: «Достиг я высшей власти», — имеет очень характерное окончание:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть…
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося.
Тогда — беда! Как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молоток стучит в ушах упрек…
И мальчики кровавые в глазах…
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Сказать ли, что у молодого государя были свои «мальчики кровавые» — целых пять? И не беда, что заговорщики предполагали цареубийство. Он мучился. Хотя и считал себя правым. Поэтому крик юродивого: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит» — звучал как приговор.

Написанная за полгода до роковых событий, пьеса оказалась по ассоциациям удивительно злободневна.

Была еще одна болезненная тема — призвание на царство неправедного царя Бориса Годунова, после чего и воспоследовали бедствия Смуты. Возгласы народа: «Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!» или «Венец за ним! он царь! он согласился!» — очень напоминали разговоры времен междуцарствия.

Наследуя не прямо, а через голову цесаревича Константина, Николаи, как сам писал, «боялся быть неправильно понятым». То есть обвиненным в захвате короны. Слова изменника воеводы Басманова: «Но смерть… но власть, но бедствия народны…» — прекрасно передавали колебания кануна восстания.

После смерти Александра I Совет под давлением петербургского генерал-губернатора А.М. Милорадовича, вопреки воле покойного императора, высказался за присягу цесаревичу Константину, поскольку «нельзя распоряжаться престолом по завещанию». Эта присяга была принесена, в том числе и Николаем. Но вследствие решительных отказов Константина выехать из Варшавы и принять корону в ночь с 13 на 14 декабря Николай I прочел в Совете манифест о своем вступлении на престол. И он, и присутствующие понимали, что на другой день гладко дело не пройдет. Но выхода не было. Николай уже знал о заговоре. О многом догадывались советники.

Между Петербургом и Варшавой курсировали курьеры, везя в одну сторону мольбы либо принять престол, либо гласно заявить об отречении, а в другую решительные отказы. Ведь и Константин был осведомлен о тайном обществе.

«Я себя спрашивал, кто большую приносит из нас жертву, — рассуждал Николай о себе и Константине, — тот ли, который отверг наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и оставался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, — или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче».

Даже после воцарения, следствия и казней с Константином далеко не все было закончено. Его очень ждали на коронацию. В народе считали, что старший своим присутствием должен «освятить» право младшего.

Между тем цесаревич вел себя вызывающе, и для внимательных наблюдателей было очевидно: каждым следующим шагом он загоняет себя все глубже в угол. Варшавский сиделец не явился на похороны покойного императора. А это уже был скандал. Снова всколыхнулись слухи, будто старший из великих князей не признает Николая, боится ехать в Петербург, ждет ареста…

Зато Константин устроил похороны Александра I в Варшаве. Слово в слово по придворному церемониалу. Длинная траурная процессия с факелами. Сотни аршинов черного крепа. Караван плакальщиков по всем улицам города. За катафалком шел, рыдая, сам цесаревич. Потом закрытый гроб, где лежал польский мундир императора, выставили в кафедральном соборе Святого Яна для прощания, и все войско, все чины двора проходили перед саркофагом без тела. Что и кому хотел этим сказать цесаревич?

На коронацию в Москву он приехал инкогнито. 14 августа поутру ему удалось попасть в Кремль незамеченным. А кто осмелился бы его не пустить? Оставил свиту у Смоленской заставы, а сам пешком прошел через все посты. Было 11 часов утра, на мраморной лестнице ввиду свиты государь преклонил колени перед старшим братом. Это вынудило цесаревича сделать то же самое. Потом Николай хотел обнять гостя, но тот поцеловал ему руку, как подданный своему монарху. Умиленная свита утирала слезы при виде семейного согласия.

Когда в день коронации, после совершения обряда в Успенском соборе, государь подошел, чтобы еще раз поблагодарить Константина, их аксельбанты сцепились. В этом увидели знак свыше и опять уронили немало умиленных слез. На следующее утро, не прощаясь, Константин уехал в Варшаву. И уже оттуда написал бывшему адъютанту Ф.П. Опочинину: «Я отпет!»

Пьеса, повествовавшая о Самозванце, способном привести польские войска и захватить русский престол, выглядела на фоне этих событий тревожно.

«НЕ В СИЛАХ ПЕРЕПРАВЛЯТЬ»

К счастью для Пушкина, пьеса показалась слишком длинной, чтобы среди «нужных» бумаг читать еще и эту. Позднее государь все-таки ее прочел и говорил, что ему больше всего нравится беседа Годунова с сыном над «чертежом земли Московской». И недаром. Он ведь сам воспитывал царевича Александра и мог ему сказать: «Учись, мой сын, и легче и яснее/ Державный труд ты будешь постигать».

Но в 1826 г. император низложил чтение на Бенкендорфа. Тот тоже посчитал, что время государственного человека — на вес золота. Поэтому затребовал экстракт и рецензию на литературное произведение от сотрудничавшего с III отделением Ф.В. Булгарина. Сомневаться в его профессионализме не приходилось — писатель, журналист, крайне популярен, высокие тиражи.

К этому момент Булгарин еще не стал врагом Пушкина, так что его мнение — не мнение литературного недоброжелателя.

Будем считать, что он просто не пришел в восторг от «Бориса Годунова». И это вовсе не крамола. Критики, включая Вяземского, часто отзывались о детищах гения без привычного нам пиетета — они ведь не знали, что именно его вкус станет эталоном.

Булгарин не подвел Пушкина в одном важном вопросе. Заявил, что пьеса полностью благонадежна: «Дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе». Скажем правду: критик рисковал. Он сразу отвлек внимание от идейного содержания к художественной отделке. Последняя ему не понравилась: «У Карамзина все это описано вдесятеро сильнее». Или: «Все — подражание от первой сцены до последней». И сразу вылез злополучный британский романист: «Кажется, будто это состав вырванных листов из романов Вальтер Скотта. Для русских это будет чрезвычайно интересно по новости такого рода и по отечественным событиям».

Кроме того, Булгарин отметил, что в пьесе много непристойных слов, которые непонятно как будут звучать со сцены. Пушкин же, напротив, возражал против усредненной гладкости и ратовал за то, чтобы русскому языку оставили «некоторую библейскую похабность». Однако признавал, что в «Годунове» герои «матерятся» у него на нескольких языках, стало быть, она не подойдет для дам.

Бенкендорф посчитал нужным смягчить отзыв и в декабре 1826 г. писал императору: «Это сочинение не годится для представления на сцене, но с немногими изменениями можно напечатать». Тогда же императору были переданы сделанные Пушкиным «заметки на общественное воспитание», которые Александр Христофорович назвал текстом «человека, возвращающегося к здравому смыслу».

Подобный отзыв вызвало рассуждение о событиях на Сенатской площади. «Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, — писал Пушкин, — образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей».

Подобно Н.М. Карамзину он видел, что «поколение, коего несчастные представители погибли на наших глазах», лишь уступило духу времени и виновато в том, в чем виноват их век. «Мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический,

литературу… превратившуюся в рукописные пасквили на правительство… наконец, тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые или безумные».

Каков же выход из тупика? «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

Вот тут император не согласился. Не мог согласиться и Бенкендорф. 23 декабря он передавал Пушкину слова государя: «… принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». Одним словом, «умеренность и аккуратность».

Где и когда Александр Христофорович сам был «умерен и аккуратен»? С его-то любовно-боевым прошлым? Стоило министру внутренних дел А.А. Закревскому написать на шефа жандармов донос: его-де подчиненные — пьяницы и бабники, а вмешиваются в полицейские дела, — как Бенкендорф заявил императору: спросите с меня. Ведь жандармы берут пример с начальника, а он, что греха таить… «Хоть герой ты в самом деле,/ Но повеса ты вполне».

Поэтому разговор о морали с Пушкиным выходил беседой слепого с глухим. Из троих его участников — двоих прямых и третьего за кулисами — нравственностью отличался только император: не изменял жене. Пока. Но сама по себе затронутая тема была знаменательна. В традиционном обществе следить за воспитанием поставлена Церковь. В обществе европеизированном, светском, далеко ушедшем от патриархальности, эта опора не столь ощутима. А с течением времени может быть полностью размыта. С XIX в. право говорить с читателем о нравственности, воспитывать его оспаривали друг у друга литература и… карательные органы. Недаром отчеты III отделении назывались «нравственно-политическими». Трудно ли догадаться, кто победил? А вспомнить, чем это закончилось?

Между тем роль рассадника морали не подходила ни силовому ведомству, ни республике писателей. «Глухой глухого звал к суду судьи глухого».

Разговор о «Борисе Годунове» был куда предметнее. Здесь случился конфуз. Император лично полюбопытствовал: ответил ли Пушкин «по поводу заметок на его трагедию»?

Бенкендорф еще до переписки о воспитании донес до поэта высочайшее мнение: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с *нужным очищением* переделал комедию

свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скота». Места, требующие «очищения», были отмечены в тексте.

Конечно, Пушкин взвился. Он промедлил с ответом больше полумесяца, пока не взял себя в руки, и наконец выдавил: «Жалею, что я не в силах переправлять мною уже однажды написанное».

Получилось, что критический отзыв Булгарина был передан императору шефом жандармов в смятенном виде. Тот еще более смягчил, но оставил бесспорное, с его точки зрения, замечание о Вальтере Скотте. Именно оно-то задело поэта.

Пьеса целиком не печаталась несколько лет. Только накануне женитьбы, ссылаясь на нехватку денег, Пушкин решился возражать государю: «Все смуты похожи одна на другую. Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей. Он должен заставить их говорить в соответствии с установленным их характером… Моя трагедия — произведение вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть тот, что мне представляется существенным».

Под свадьбу согласились. «Годунов» остался как есть"

Глава 3
"ШЕНЬЕ" ИЛИ "14 ДЕКАБРЯ

С "Шенье" поначалу вышел очередной конфуз. Оказалось, что Пушкин его уже печатал, и все доносы на поэта, будто бы он изобразил 14 декабря, бессмысленны. Дудки! Французская революция.

Однако постепенно разобрались. Оказалось, опубликованный "Шенье" — одно. А не пропущенные цензурой 43 строки, неизвестно кем впервые переписанные и превращенные в особое стихотворение, — другое. Нечто вроде новой "Вольности" — ода Свободе "светозарной". Пришлось пускать дознание по второму кругу.

"НЕ ЧУЖАЯ"

Наступивший 1827 г. — время перед грозой. Перед новой войной с Турцией. С Востока приходили вести о победах Паскевича. Взял Эривань, взял Тебриз. В Северной столице готовились к неминуемому разрыву с Константинополем. Но пока сидели дома. Балы шли за маневрами, маневры за балами. Поправилась и блистала императрица, трудно пережившая день 14 декабря.

Легкая, как перышко, и живая, как лесной родник, Александра Федоровна полтора года походила на тень самое себя и даже ступала как-то неуверенно. Она и тогда была самой грациозной из являвшихся при дворе дам. Леди Анна Дисборо, жена английского посланника, писала: "Наша императрица просто не может не быть очаровательной".

Ее красота была того сорта, что трудно передать в застывшем виде — на картинах или резцом. Только одухотворенную жизнью и движением. При классических чертах, Александра Федоровна, некогда принцесса Шарлотта, казалась милой, а не холодной. Уже пленившись обращением, собеседники спохватывались: какая утонченная, хрупкая, величественная!

Накануне страшного дня 14-го, ночью, после заседания Государственного совета, муж не пощадил ее — сказал: "Дай слово, если завтра придется умереть, то умереть с честью". И она, памятуя о матери, храброй королеве Луизе — символе прусского патриотизма, — не побоявшейся выступить против самого Бонапарта, выдохнула: "Да".

Эта нежная, как оранжерейный цветок, девочка! У нее уже было четверо детей, а она все продолжала скакать с фрейлинами через веревочку. Александр Христофорович знал ее лучше, чем супругу покойного государя, потому что именно к нему она бегала поговорить на живом немецком: остальные, включая мужа, предпочитали французский, а когда заговаривали на языке Гете, то у них выходило делано и старообразно, точно в XVIII в.

В бытность свою на родине бедняжке наплели про Бенкендорфа с три короба. Впрочем, все правда. Говорили о его храбрости и о "беспутной жизни", жалели и посмеивались. Когда же великая княгиня лично встретилась с другом мужа (он уже был женат, отец семейства), то удивилась, "какой серьезный, солидный человек".

Что до самого Бенкендорфа, то он был счастлив, что будущая императрица приехала именно из Пруссии. Когда свадебный поезд пересекал границу, великий князь Николай сказал своим офицерам: "Это не чужая, это дочь вернейшего нашего союзника".

Но познакомилась молодая чета за несколько лет до венчания. Им дали время привыкнуть друг к другу и подрасти. Долговязый, худой и взъерошенный юноша. Ей сразу захотелось его причесать. А ему — быть причесанным этой аккуратной чистенькой девочкой.

Жених был нескладный. Но в нем сквозило столько нерастраченной любви, что принцесса тут же подставила ладошки.

И великий князь с готовностью отдал тепло, на которое никто не претендовал.

Николай четыре года ездил в гости. Подружился с братьями. Пришелся по сердцу отцу. Невеста хлебнула полную чашку волнений, когда император Александр I отправил брата в Лондон и там вокруг царевича закружилась принцесса Уэльская. К этому моменту его уже называли самым красивым принцем Европы. А Шарлотта так и осталась худенькой и блекленькой. Но он вернулся к ней.

В ночь на 15 декабря, когда государь наконец поднялся к дверям спальни, жена стояла в углу у киота и шептала: "Я буду никем. Просто его подругой. Больше никем".

Но потрясение было слишком сильным. В ту же ночь у нее случился припадок. Она слегла. Поправлялась медленно. Дети, сколько бы за ними ни присматривало нянек, выглядели сиротами. Впрочем, в роковой день 14-го никаких нянек рядом не было — малышей даже забыли накормить.

Многие тогда шептались, что императрица уйдет. Или будет хворать с пятого на десятое, и тогда его величеству

понадобится… О, многие дамы этого бы хотели. Государь — слишком лакомый кусок. И все иностранные дворы уже нацелились, желая знать, кто завладеет если не сердцем, то постелью императора, чтобы потом, путем подарков и посулов, сделать фаворитку "подданной своей державы".

Такое положение не могло пройти мимо Александра Христофоровича. Дайте время подготовиться и, если надо, подготовить… А так, вместо добрейшей и скромнейшей Шарлотты, принимать приказы от какой-нибудь Помпадуры — увольте!

Между тем болезнь жены била императора влет и как мужчину, и как государя. Окружающие считали, будто царица просто нежна и слаба, чтобы давить на властного супруга. Но скажи Александра Федоровна слово, и ей, матери своих детей, он никогда бы ни в чем не отказал. Однако Шарлотта была слишком горда, чтобы просить, и слишком высокородна, чтобы выманивать.

В семье никто не пытался влиять на государя. Был случай — одна несчастная мать припала к стопам императрицы, моля о сыне. Шарлотта сказала только: "Обратитесь к Александру Христофоровичу. Он может". Много потом толковали: как это? Бенкендорф может, а царица нет? Но Александра Федоровна, от рождения, от венценосного детства в Берлине, знала и умела то, что любая другая — век учись, не сумеешь. Она одним словом остановила на пороге их дома любое попрошайничество, даже святое, слезное, за родных. Ибо в семье государь — суть человек и не должен встречать монарших дел, они остаются за дверью.

Между прочим, тогда Бенкендорф действительно помог, потому что именно его, не мужа, попросила императрица. А ее просьбы — приказ, и часто разбрасываться подобными требованиями она себе не позволяла. Цедила по чайной ложке: раза два в год. И шеф жандармов умел ценить царскую деликатность.

"ТОТ ЛИ ЭТО ПУШКИН…"

Теперь в минуты волнения императрица начинала трясти головой и говорить невнятно. Но по молодости это было едва приметно и то очень близким. Александр Христофорович входил в число близких. Однако он и сам знал, что такое контузия. Бенкендорф после Лейпцига едва не оглох.

Хлопок был очень сильный. Минут через десять он открыл глаза, и его удивила тишина. Вокруг ходили солдаты. Склонялись

над ним, радостно скалились: мол, жив. Судя по всему, звуки были. Но он их не слышал…

Теперь бедняжка императрица говорила, что глухие очень подозрительны. А ей всю жизнь довелось иметь дело с глухими — покойный Александр I, Жуковский, вот он.

Что тут возразишь? А все, у кого голова качается, как у китайской куклы, смотрят на мир с неодобрением — будто осуждают и даже цокают языком. Хотя на самом деле добрейшая женщина.

Но глянет исподлобья, склонит лицо набок, качнет прической, и сразу кажется, что у тебя в одежде непорядок. То ли аксельбант не так повязан. То ли не ту форму надел. Их, слава Богу, семь видов.

В остальном дела шли покойно. К обязанностям Бенкендорф приноровился. Здание для ведомства получил. Вот только министры… Каждый день, выходя от государя, он видел их в приемной. А они его. Пусть привыкают. Пока Александр Христофорович не позволил себе и тени неудовольствия на лице. Хотя знал про этих господ больше, чем хотелось бы. Им высший надзор — кость в горле. Ибо именно против них учрежден. Мздоимство, подкуп, беззаконные обиды малых сих… Политические злодеи, тайные общества, писаки, салонное мнение — тоже, конечно. Но во вторую, в третью очередь. А в первую — министры.

Что не являлось тайной за семью печатями. Бенкендорф помнил, как они вызверились на него еще в дни коронации. Пожар! Грабеж! Их подозревают! Лишают министерской невинности! Чистоты рук!

А вы, господа, руки-то из казны повытяньте. Из карманов просителей тож. Сколько было истерик! Теперь генерал переживал подобное без трепета. Ибо во дворец входил, не церемонясь, а царскую руку не только целовал по праздникам, но и пожимал ежедневно.

Отстали: себе дороже. Но от товарищей по должности Александр Христофорович не ожидал ничего, кроме каверзы. И был к ней внутренне готов. С некоторых пор он стал замечать в зеркале, какими разными становятся две половины его лица. Левая сохраняла беспечность и удаль прежней жизни, радовала чистотой лба и открытостью взгляда. Улыбка и та как-то приметно съезжала налево. Правая — застывала гипсовой маской всякий раз, как Бенкендорфу говорили что-то неприятное. На ней явственно отпечатывались настороженность, педантизм и неукоснительное исполнение инструкций.

Даже жена, когда разговаривала с ним, старалась подсесть

слева. Она заявляла, что после 13 июля 1826 года, когда во время повторного повешения злодеев муж не выдержал и наклонился к холке лошади, с ним случился удар, но он сам того не заметил, охваченный вихрем чувств страшного дня. Когда пришел домой, у него было все такое лицо. Потом отпустило. Теперь, пожалуйста, живите с незнакомцем!

Александр Христофорович не любил *правого* человека, хотя предвидел его грядущую победу. Он раздавил бы подлеца, если бы не заметил, что подчиненные исполняют его приказы куда быстрее, точнее и безропотнее, когда он поворачивается к ним правым боком. Даже цирюльник чище выбривает именно правую щеку. А потому оставил негодяя жить и по выходе из царского кабинета нарочито демонстрировал министрам правый профиль.

Пушкину же правую сторону он показывать не хотел. Потому что государь благоволил поэту, а Николай Павлович в людях обманывался редко. Поэтому Бенкендорф не сразу поверил в донесения о "Шенье" и просил генерала И.Н. Скобелева разузнать: тот ли это Пушкин или какой другой? Не подделана ли подпись? И где, собственно, подлинник? Мало ли что и на чье имя ходит в списках!

Скобелев разочаровал: тот самый, прощенный государем, живет в деревне у отца. Пришлось снимать показания.

Еще в конце января поэт прислал первые разъяснения: "Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье, напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений.

Они ясно относятся к французский революции, коей А. Шенье погиб жертвою… Все сии стихи никак без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря".

Шенье — французский поэт, воспевший было великие потрясения, но потом гильотинированный во время якобинского террора. Оказывается, его труп, как петухе отрезанной головой, еще бегал по страницам чужих сочинений!

Элегия действительно не могла относиться к событиям 14-го. Тут и взятие Бастилии, и Мирабо, и Вольтер с Руссо в Пантеоне…

Неприятно одно — общий похвальный тон. Ну да за занятостью пока оставили.

"МЕСТНОЕ СЛОВО"

В январе обнаружилось, что и с "Годуновым" все не так худо, как предполагал поэт. Вяземский завидовал: "Дай Бог каждому

такого цензора. Очень мало увечья".

А дело с "Шенье" шло своим чередом. Допрашивали распространителей. Где взяли, у кого? И Пушкин повел себя совсем так, как ведет человек неопытный, нашкодивший и знающий за собой вину. Задергался. Сначала передал Бенкендорфу стихи для высочайшего Цензора через барона А.А. Дельвига. А потом попросил разрешения лично приехать в Петербург — по семейным делам.

Александр Христофорович понял: поэт еще дуется за "Годунова", не хочет сам писать. Вот уже второй раз пытается избежать прямого контакта с шефом жандармов. Может, просто боится?

Между визитом Дельвига, принесшего "Цыган", и письмом самого Бенкендорф прошло два месяца. Александру Христофоровичу было некогда. Позднее Жуковский писал: "Вы делали изредка свои выговоры, с благим намерением, и забывали о них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям, которые не могли дать вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным".

Знаменательная мысль. Все дела шефа жандармов — досадное препятствие, которое мешает заняться главным.

В марте Александр Христофорович ждал, что Пушкин напишет первым. Не дождался, взялся за перо. Текст вышел обиженным: "Я не могу скрыть вам крайнего моего удивления, что вы избрали посредника в сношениях со мною, основанных на высочайшем соизволении".

Дом шефа жандармов — не проходной двор! У Бенкендорфа три дочери и две падчерицы. И племянница — бедная сирота.

Не в смысле бесприданница, а в смысле — жалко ее, осталась без матери. А кроме того, супруга, еще очень привлекательная дама. О нравственности же барона Дельвига говорят нелестно. Какова будет репутация женщин, за которых он, Бенкендорф, отвечает, если к нему запросто станут являться "вовсе не знакомые" люди?

Впрочем, все это Александр Христофорович оставил за строкой. Просто напомнил: прямой контакт обязателен. Так приказал государь. Не ему приказы обсуждать. И не Пушкину нарушать их.

Осадил. Поэт сразу по получении рассыпался в извинениях: стихи-де старые, отданы давно для альманаха "Северные цветы". Согласно высочайшей воле он их "остановил" и "предписал Дельвигу прежде всего показать оные" Бенкендорфу.

Письмо было помечено 22 марта, при этом корреспондент промедлил с ответом, поскольку эпистола самого адресата "ошибкою было адресовано во Псков". Темнит?

Александр Христофорович сразу почувствовал, как напряглись невидимые струны. А через месяц Пушкин запросился приехать. Запросился из Москвы, где, по донесениям агента А.А. Волкова, "занимался карточной игрой", променяв "Музу на Муху".

Деньги у поэта пока были. Вяземский писал еще в октябре прошлого года А.И. Тургеневу: "Пушкин напечатал 2-ю часть Онегина… и книгопродавцы уже предлагают ему 5000, а он просит семь". Однако Первопрестольная на этот раз была к нему холоднее. И пусть провинциальные приятели, как чиновник одесского градоначальства В. И. Туманский, тоже стихотворец, взывали к Пушкину: "Тебе на Руси предназначено играть ролю Вольтера… Твои связи, народность твоей славы, твоя голова, твое поселение в Москве — средоточии России, — все дает тебе лестную возможность действовать на умы… С высоты твоего положения должен ты все наблюдать, за всеми надсматривать".

Но пока "надсматривали" за Пушкиным. Да и Москва "огадела". Поэтому 24 апреля Пушкин попросился в Питер.

Ответ был получен очень скоро — 3 мая. Император разрешил приехать, но "высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано".

Звучало как предостережение. Засим последовало еще два месяца покоя. Но 29 июня помечены новые показания по делу "Шенье". Теперь уже Пушкина прямо спрашивали о пропущенных строках. Пришлось перечислять, чему они были посвящены: взятию Бастилии, клятве в зале для игры в мяч, перенесению философов в Пантеон, "победе революционных идей", "провозглашению равенства", "уничтожению царей".

Грех не заинтересоваться.

Отвечая на вопросы, поэт сердился: "Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженном тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков".

Александр Христофорович помнил эти выстрелы. Какой позор! "Лучшая в мире пехота"! Отказывается присягать государю! А Пушкин бросал презрительно и резко: "После моих последних объяснений мне уже ничего не остается прибавить в объяснение истины".

Еще через месяц поэт препроводил новые сочинения: "Ангел", "Стансы", третью главу "Евгения Онегина" и "Графа Нулина". При этом он снова вышел из рамок дозволенного: "Если Вы соблаговолите снабдить меня свидетельством для цензуры, то, вследствие Вашего снисходительного позволения, осмеливаюсь просить Вас о доставлении всех сих бумаг издателю моих

сочинений надворному советнику Петру Александровичу Плетневу".

Разве шеф жандармов рассыльный? Мальчик? "Чтоб служила мне рыбка золотая/ И была б у меня на посылках". Этих строк Александр Христофорович не знал, потому что они еще не были написаны. Но при чтении письма должен был почувствовать себя золотой рыбкой.

"В НАДЕЖДЕ СЛАВЫ И ДОБРА" "ХРАНИТЕ ГОРДОЕ ТЕРПЕНЬЕ"

На стол перед Бенкендорфом легли исключенные цензурой строки, оформленные как особый текст. Пока одни призывы к кровавому возмущению. Как поставить эту рукопись, восхваляющую французскую революцию, на одну доску со "Стансами"?

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петр
Мрачили мятежи и казни.

Правда, выходило неприличное похлопывание императора по плечу. Напутствие:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он не злобен.

Это о заговорщиках? Если бы мятеж случился при Петре Великом, "пятью виселицами дело бы не ограничилось".

Бенкендорф видел, как Алексей Орлов после следствия приходил к государю просить помилования для брата Михаила. Встал на колени и не поднимался, пока император не дал слово. А что бы сделал Петр I? Заставил бы Алексиса в доказательство преданности лично рубить головы виновным? Может, и брату?

Во время коронационных торжеств цесаревич Константин подошел к Алексею Федоровичу и сказал ему: "Жаль, что твоего брата не повесили!" Играл? Оскорбительное лицедейство. А ведь, как говорили, "в Константине Петр Великий и не умирал".

Александр Христофорович еще не знал, как накинутся на Пушкина за "Стансы" друзья. Как будут посмеиваться. Обвинять в

"ласкательстве". Катенин — "товарищ милый, но лукавый" — в одном из писем отметит: "О стансах С[аши] П[ушкина] скажу Вам, что они, как многие вещи, в нем плутовские". В прошлом веке литературоведы схватились за эту фразу: чтобы смягчить-де дело "Шенье", Пушкин написал похвальное слово царю. А "Друзьям", а "Герой"… Дело не в похвале. Отношения поэта и императора были сложными, обмолвки и намеки рассыпаны по многим произведениям.

Но верно и другое. "Стансы" поэт подал на высочайшее рассмотрение. А уезжая из Москвы, вручил Александрине Муравьевой "Послание в Сибирь", о чем шеф жандармов не подозревая.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье…

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Из ссылки молодой поэт Александр Одоевский откликнулся: "К мечам рванулись наши руки,/ И лишь оковы обрели". Это был тот самый Одоевский, который накануне 14-го в восторге повторял: "Умрем, ах как славно мы умрем!" А во время следствия писал покаянные письма — единственное, что из всего этого читал Александр Христофорович.

"Чем больше думаешь об этих злодеяниях, тем больше желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России". Для этого Одоевский сначала рассказал все, что знал о главных фигурантах дела — "Пестеле и сообщниках". А потом стал провоцировать новые дознания: "Допустите меня сегодня в комитет, ваше высокопревосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива… Я жду с нетерпением минуты явиться перед вами… Я наведу на корень, это мне приятно". Может, просто скучно в камере? "Если когда будет свободная минута, то прикажите мне опять явиться… даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать".

Теперь эти люди в "каторжных норах" "гордятся… судьбой" и "смеются над царями"…

Но что же выходило у Пушкина: "В надежде славы и добра" "храните гордое терпенье"? В каком случае поэт был искренен? И

в первом, и во втором, и еще в десяти неизвестных нам случаях. Он просто был искренен. В каждый отдельный момент своей жизни. Любил друзей. Полюбил государя… Когда писал, так и думал.

Пройдут годы, и Бенкендорф заметит: "Пушкин соединял в себе два единых существа". Только два?

В мире, где писал поэт, можно было славить самодержца и радоваться падению Бастилии. И под этим понимать истинную свободу. Внешние ограничения не имели к ней никакого отношения.

Но они были. Например, что чиновники могли усмотреть из строк, прославляющих первый порыв французской революции:

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ…
Разоблачился ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!

Далее наступила эпоха якобинского террора, и оказалось, что блаженство попрано.

О горю! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Эти строчки при большом желании можно было принять за намек на недавние события. Однако важен был не намек, а общее настроение. В оде "Вольность" тоже описывалось убийство Павла I — событие ужасное, но отдаленное на два с половиной десятилетия. Однако ее находили у заговорщиков. Значит, она была близка им по духу.

Новая "ода" заканчивалась надеждой на торжество свободы.

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая — нет, не виновна ты…
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;

Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут.

На место последней строки легло бы: "И братья меч вам отдадут". Здесь есть над чем задуматься.

Сенаторы задумались, хотя и не знали "Послания в Сибирь". Дело решилось в августе. Они признали сочинение "соблазнительным к распространению в неблагонамеренных людях того духа, который правительство обнаружило во всем его пространстве". По их мнению, "сочинителя Пушкина… надлежало бы подвергнуть ответу перед судом". Но через высочайшую волю не перешагнуть. Посему, "избавя Пушкина от суда и следствия, обязать его подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать".

Мнение спорное. Стихи были опубликованы в октябре 1825 г. вовсе не "без рассмотрения и пропуска цензуры". Речь могла идти только о распространении непропущенных строк, которые при печати отмечались отточиями. Однако полный вариант элегии стал известен по спискам, раньше сокращенного цензурой, поскольку, как писал поэт уже в ноябре: "Я и не думал делать из него тайну".

Последний его отзыв, как и июньский, весьма раздражен. Нечто вроде: зачем дергать его глупостями… недоразумение и только. Но именно после этого недоразумения за поэтом был восстановлен надзор. Говоря о Пушкине, исследователи часто доказывают, с одной стороны, его близость декабризму и сохранение прежних идеалов, с другой — необоснованность и оскорбительность правительственного недоверия. Но либо, либо…

13 августа Государственный совет "положил иметь за сочинителем Пушкиным секретный надзор", о чем не считалось "приличным" упоминал "в высочайшем повелении" по данному делу. Тем не менее сами чиновники должны были знать и уведомили друг друга секретными письмами.

Дело решилось не столько благополучно, сколько никак. Надзор велся и до этого. Зато Пушкин остался в Петербурге. Написанный 13 июля 1827 г. — в годовщину казни — "Арион" убеждал в сознательности действий поэта:

Погиб и кормщик, и пловец! —
Лишь я, таинственный певец.
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою…

22 августа Бенкендорф вернул Пушкину "Ангела", "Стансы", главу "Онегина" и "Графа Нулина" с милостивейшим разрешением печатать. Только в последнем поэта просили из соображения приличий заменить две строчки, где горничной не стоило "с барином шалить", а проникшему ночью в спальню барыни графу Нулину касаться одеяла. То же пуританское правило было применено к "Сценам из Фауста", где две строки про "модную болезнь" просто выпали.

Подавались также "Песни о Стеньке Разине", которые завернули, потому что "при всем их поэтическом достоинстве" Разин — злодей, его память, как и Пугачева, проклинает Церковь.

Пушкин еще ни словом не заикался о Пугачеве. Но, видимо, "уголовное" направление мыслей поэта прочитывалось на расстоянии.

Эхо сенатского разбирательства еще витало над стихами поэта. Опять дули на воду. 7 сентября возглавлявший Департамент народного просвещения старик адмирал А.С. Шишков — дедушка российского печатного слова — лично запросил у Бенкендорфа разрешение публиковать третью главу "Онегина" и россыпь стихов, принесенную Плетневым. Не помогло и продемонстрированное письмо шефа жандармов к Пушкину с высочайшим разрешением, и личное отношение Фон Фока. Бдительный адмирал обратил внимание на то, что рукопись "Онегина" не скреплена по листам. А значит, надпись на первой странице карандашом "позволено" не может быть принята всерьез.

"Не угодно ли будет вам, милостивый государь мой, приказать, кому следует, дабы в канцелярии вашей манускрипт сего сочинения скреплен был по листам", — писал Шишков. Смысл просьбы был ясен. Мало ли какой лист можно вставить в середину. А потом виноваты будут в Департаменте.

Поэтому Бенкендорф, видимо, в душе очень ехидничая, но не позволяя себе и тени усмешки, написал в ответ: "Возвращаю при сем скрепленную надлежащим образом в III отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии 3 главу романа Евгения Онегина, препровожденную ко мне при почтеннейшем отношении вашего превосходительства… № 5067". После чего не поленился повторить старику, какие именно стихи и с какими купюрами пропущены.

Кажется, теперь всем все было ясно.

Следовало отвлечься на текущие дела по жандармерии. Между тем в 1827 г. Александра Христофоровича посетила редкая удача. Назовем ее Музой в голубом мундире. Эту милую даму он

ждал десять лет. Под проверку III отделения попала Ярославская губерния. Там вскрылось мошенничество, доселе неведомое в остальной империи. Жандармский полковник Н.П. Шубинский донес Бенкендорфу о существовании целой сети по торговле рекрутами: казенные крестьяне покупали у помещиков людей, чтобы сдавать их за себя, когда приходила очередность отправиться в армию.

Для этого хозяин выписывал на имя крепостного документ об освобождении, который не давался мужику на руки. Потом "вольного хлебопашца" вписывали в семью государственного и, когда приходил срок, составляли прошение, согласно которому тот добровольно отправлялся служить за другого человека.

Без деятельной помощи чиновников такая пирамида не могла бы существовать, прежде всего потому, что сами крестьяне в массе были неграмотными и не могли оформить надлежащие бумаги. Кроме того, торговлю рекрутами следовало покрывать на каждом этапе от фальшивой вольной до причисления к чужой семье и прошения об уходе в армию. Механизм хорошо работал несколько лет, о нем была осведомлена полиция, но ничего не предпринимала.

Наладить подобную схему мог только человек с недюжинными способностями "махинатора". Им оказался старый знакомый Бенкендорфа губернатор Михаил Иванович Бравин. С их первой встречи прошло десять лет. Тогда Бравин тоже придумал для обогащения любопытную схему: заставлял казенных крестьян затевать тяжбы из-за земли с местными помещиками, а затем брал с последних деньги за разрешение дел в их пользу.

Кроме того, Бравин взвинтил поборы с государственных крестьян, а те пожаловались на самоуправство в Сенат. Характерно, что жалобщики просили ни в коем случае не доверять расследование местным властям: "Мы теперь стали хуже нищих… Кто только к нам в селение не завернет, тот что хочет с нас и берет, а жаловаться негде; один другому потакает, и нигде у них суда и правды не найдешь".

В это время дивизия Бенкендорфа передислоцировалась под Воронеж. Долго на одном месте контингенту стоять нельзя — ни одна губерния не выдержит — объедят и оберут до нитки. Поэтому армия в мирное время совершает круговорот по империи. Что, конечно, хорошо сказывается на росте населения.

Но такой нищеты, как на Воронежских землях, Бенкендорф не видел давно. Селения выглядели так, будто здесь уже прошли войска, причем неприятельские. Причиной чему служил губернатор Бравин, на которого совокупно били челом все

сословия: от веревочников до тех, кому эти веревки намыливали.

В город вступали утром, около девяти. С песнями, с литаврами, с развернутыми знаменами. Обыватели встречали их вяло, без взрыва патриотических чувств. Без цветов, что по зимнему времени понятно. И без сорванных с голов шапок, что ни в какие ворота не лезет. Даже барышни в каких-то, не приведи Бог, блеклых платьях!

Офицеров ждал праздничный обед в губернаторском доме. А солдат — на квартирах, отведенных под постой. Уже на следующий день служивые рассказывали, что обыватели хоть и угощали, но все как-то косились то на печь, то на буфет — кабы не съели последнее.

Бравин с первой минуты вызвал отвращение неуклюжими манерами медведя на шаре: вроде и крутится, и лапкой машет, а клыки едва прячет, ворчит, порыкивает…

То, что Бравин вздумал драть с казенных мужиков, как с собственных, — полбеды. Ни один помещик свою скотинку до разорения не допустит. Но губернатор удвоил поборы: и казна сыта, и ему прибыток. Только вот мужички что-то стали дохнуть. Ударились в бега. Их жалоба и была главной. Она обожгла царю руки. Еще год-два такого произвола, и целая губерния не сможет платить налоги. Бери, да знай меру! Оставляй копейку на разживу. Раз Бравин этого не понимал, значит, он не только жаден, но и глуп.

От крестьян удалось узнать, что земский исправник Харкевич гонял на свое поле баб по двести в самую горячую пору — хлеб сажать. Что брал взятки в размере годового жалованья по две тысячи рублей. Собирал с мужиков "христославное" на Рождество и Пасху. Кормили крестьяне его письмоводителей, секретарей и прочую живность ветчиной, поросятами, яйцами, коровьим маслом, "чтобы за год не скушать с барынями и детишками". Требовал от девок ягод на варенье и сушение.

Именно тогда Бенкендорф написал Воронцову, что "гражданских чиновников… не деморализуешь ни артиллерией, ни пехотой", он "изобличил целую кучу мерзавцев", но пойдет ли дело дальше? Действительно, разбирательство тянулось два года, Государственный совет нашел Бравина правым, и вскоре, благодаря столичным покровителям, тот стал губернатором на новом месте. А Александру Христофоровичу пришлось ждать времени, когда он сам сможет вытирать руки мнением Государственного совета.

Теперь время приспело. Глава III отделения испытывал к Бравину личную неприязнь. В своих воспоминаниях Бенкендорф либо говорил о человеке хорошо, либо не говорил вовсе. С

Бравиным редчайший случай — о нем Александр Христофорович отозвался плохо: "Наглый, продажный, допускающий произвол человек, который оскорблял дворян, притеснял купцов и разорял крестьян". "Как только он узнал, что мне предписано изучить его поведение, он сначала попытался внушить мне уважение, а затем прибег к низостям". То есть попробовал дать взятку.

Но, паче чаяния, ревизор денег не взял. Да еще и осмеял семью губернатора: "Его жена и две дочки оказывали мне всевозможные знаки внимания, первая любила своего маленького спаниеля так же, как и мужа, две другие были неприятными особами. Не было большой заслуги в том, чтобы противостоять соблазну".

Явился и доноситель: "Мне посчастливилось запугать и привлечь на свою сторону одного из друзей губернатора, статского советника из числа чиновников, наиболее причастных к воровству. Чтобы получить прощение, он развернул передо мною широкую картину злоупотреблений… Он показал мне плутов и рассказал об их хитростях… более чем достаточно".

В 1817 г. столичные покровители вывели Бравина из-под удара. В 1827 г. Александр Христофорович собирался не позволить этого сделать. Паче чаяния, виновный, имея звание сенатора, отбивал удары еще около трех лет. Только в 1830 г. его карьера наконец закончилась.

"ДОЛГ СТРОГОГО СУДЬИ"

Если описание дела Бравина похоже на "Ревизор" Н.В. Гоголя, то другое набравшее в 1827 г. обороты расследование тянуло к "Дубровскому" Пушкина.

У Троекурова имелся реальный прототип. Богатый рязанский и тульский помещик генерал Лев Дмитриевич Измайлов, родившийся в 1764 г. и куролесивший на своих землях четыре царствования подряд. Выйдя в отставку, он не без подкупа стал рязанским предводителем дворянства, благодаря чему завязал самые тесные отношения со всей местной администрацией. Покровительство высших по чину и страх низших долго позволяли ему оставаться безнаказанным.

Его бесшабашная удаль, широкое барство и крутой нрав вызывали смешанное чувство трепета и восхищения. Одаривая и карая, Измайлов не делал различия между собственными холопами, местными чиновниками, соседями-дворянами, купцами — на всех простиралась его власть. Однажды он пожаловал исправнику тройку с экипажем и тут же заставил

самого выпрячь лошадей и на себе под свист арапника отволочь карету в сарай. Мелкого стряпчего могли высечь на конюшне и посадить на хлеб и воду в подвал. Одного соседа-помещика по его приказу привязали к крылу ветряной мельницы. Другого вымазали дегтем, обваляли в пуху и с барабанным боем водили по деревне. Иной раз под горячую руку Измайлов травил гостей волками и медведями. Напоив мертвецки пятнадцать небогатых соседей, он приказал посадить их в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам по медведю, и спустить с горы в реку.

Редко встречая сопротивление, самодур, как и пушкинский Троекуров, высоко ставил людей, умевших постоять за себя. Однажды высеченный им чиновник позвал генерала крестить первенца, а после купели велел своим крепостным выпороть крестного отца. Смелость чиновника так потрясла Измайлова, что он, вернувшись домой, сразу отписал крестнику деревню в подарок.

В самом начале царствования Александра I, в 1802-м, император отдал негласное распоряжение тульскому губернатору "разведать справедливость слухов о распутной жизни Л.Д. Измайлова", но тем дело и кончилось. Во время войны с Наполеоном отставной генерал, потратив миллион рублей, сформировал рязанское ополчение, возглавил его, сражался с французами и даже участвовал в Заграничном походе. Его кипучая натура жаждала событий и крайностей. Повздорив с военным генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Воронежской губерний А.Д. Балашовым (прежде министром полиции), Измайлов в 1818 г. согнал за одну ночь на земли врага сотни крепостных, которые вырубили у того весь строевой лес и сплавили его по реке в измайловские вотчины. В это время Балашов был членом Государственного совета и весьма влиятельным лицом, однако возбужденное им дело тянулось восемь лет.

В 1826 г. "дворовые женки" подали на Измайлова жалобу в Сенат, а для верности и новому государю. Знаменательно, что сенатский экземпляр не сохранился, а вот послание Николаю Павловичу осталось для истории. "Мы не осмеливаемся донести вашему величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих и теперь не менее сорока человек находятся, после претерпенного ими телесного наказания, в тяжких земляных работах, и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час… Он жениться дворовым людям не позволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство их

силою… Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак".

Сразу вспоминаются строки Грибоедова про "Нестора", то есть учителя, наставника "негодяев знатных":

…Толпою окруженный слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг
На них он выменял борзые три собаки!!!

Незадолго до получения жалобы "дворовых женок", в марте 1826 года, молодой император издал запрет помещикам применять "железные вещи" для наказания крепостных. Имелись в виду кандалы, цепи, рогатки, надевавшиеся на шею. Николай I приказал произвести проверку доноса и предать Измайлова суду. Но следствие затянулось на два года и, если бы не настойчивость высочайшей инстанции, никогда не было бы доведено до конца. Из губернского правления, покрывавшего Льва Дмитриевича уже не первый десяток лет, был прислан советник Трофимов, который доложил, что обнаруженные им в подвале рогатки якобы покрыты ржавчиной, значит, уже давно не употребляются.

Однако легковерием новый император не отличался. Одновременно с советником губернского правления на месте инкогнито побывал жандармский полковник Шамин, нашедший рогатки и цепи в полном порядке на шее и на руках несчастных. Он же узнал, что Измайлов "дал взаймы" Трофимову 15 тысяч рублей. Тульский губернатор Трейбут получил высочайшее повеление произвести расследование. Однако сопротивление местного аппарата было таково, что Измайлов, даже преданный суду, оказался оправдан, а его дворовые биты кнутом и заключены в острог.

Переупрямить самодержца не удалось. Он приказал заново произвести суд, теперь уже в Рязани. Рязанский губернский суд снова оправдал генерала и добавил к уже сидевшим в тюрьме еще несколько человек. Сопротивление чиновников по делу Измайлова поражает глухим упорством. Речь шла о прямом неповиновении государю. Видимо, местные власти надеялись, что дела отвлекут высочайшее внимание и расследование удастся замотать, как уже случалось не раз.

Однако этого не произошло. В феврале 1828-го по именному повелению имения Измайлова были переданы в опеку. На него самого наложен штраф и взысканы судебные издержки в тройном размере. Дворовых самодура выпустили из тюрьмы, а над местными чиновниками учинили суд. Кому-то, благодаря

столичному покровительству, удалось выкрутиться. Кто-то, памятуя о старых заслугах времен войны, отделался строгим выговором. Но в целом был произведен "превеликий шум".

Пушкин очень интересовался делом Измайлова, тем более что оно живо обсуждалось в свете: в салоне княгини З.А. Болконской, у князя П.А. Вяземского, в доме бывшего министра И.И. Дмитриева и губернского прокурора С.П. Жихерева (некогда члена литературного общества "Арзамас"), где автор "Дубровского" часто бывал. Но услышать о подробностях измайловской истории Пушкин мог и напрямую от Бенкендорфа.

"СТАРЫЙ КОНЮХ"

Александр Христофорович изуверов не любил, ибо ему пришлось с ними столкнуться. В том же 1817 г. по приказу императора Александра I он расследовал дело помещика Воронежской губернии Г. А. Синявина, который в имении Конь-Колодезь убил двоих дворовых.

Большинство хозяев худо-бедно ладили с крестьянами. Без особой любви, конечно, но и до бунта дело не доходило. Все по обычаю. Но встречались те, кто был способен довести холопов до красного петуха. За мятежной деревней могли подтянуться крестьяне из спокойных с виду сел. Ненависть тлела под спудом, и нельзя было позволить ей вырваться наружу.

Крестьяне жаловались на жестокие наказания, которые и повлекли за собой гибель несчастных. "Они рассказали нам самые ужасные вещи о господине Синявине и особенно о его жене", — писал Бенкендорф. Виновный "имел большое состояние, принадлежал к одной из лучших фамилий России… он был дядей моего друга графа Михаила Воронцова и родственником большого количества моих близких знакомых. Он явился ко мне с многочисленными рекомендательными письмами… Я был вынужден ему ответить, что, несмотря на горячее желание доказать его невиновность, мой долг обязывает меня быть строгим судьей".

Были опрошены местные жители, соседи-помещики, сельский священник. Наконец, вскрыта могила. Обнаружилось, что убитых закопали со связанными руками, без отпевания. Отнекиваться не имело смысла. Помещик перестал отпираться: "Император забрал все его состояние под опеку и передал его в руки правосудия".

Чтобы не выглядеть в глазах друга предателем, Бенкендорф приказал снять копии со всех документов следствия и, сопроводив их личным письмом, отправил в Париж, где Воронцов

в тот момент командовал Оккупационным корпусом. Мол, суди, брат Михайла, если можешь.

Паче чаяния, не поссорились. Однако страшно было даже думать: мать Воронцова — родная сестра этого изувера. И Михаил, который руку на слуг не поднимал, солдатам говорил вы, имеет ту же кровь…

Закончив следствие, Бенкендорф едва не на коленях просил императора Александра I, чтобы "это поручение оказалось последним в данном роде". В тот момент генерал не мог и представить, что с подобными мероприятиями окажется связана вся вторая половина его жизни. Что задуманный им как внутренние войска Корпус жандармов будет, кроме прочего, заниматься фальшивомонетчиками, подложными паспортами, поддержанием супружеских нравов и даже особыми лавками "для джентльменов". А увенчается вся эта полезная деятельность Пушкиным.

Для самого поэта 1827 г. был рубежным. Он словно ожидал, что правительство вот-вот опомнится и казнит его. Рисовал в рукописях перекладины с пятью телами. Писал на полях: "И я бы мог". Даже в любовных посвящениях: "Вы ж вздохнете обо мне,/ Если буду я повешен?"

В неоконченной зарисовке "Какая ночь! Мороз трескучий…" вспоминал времена Ивана Грозного, описывал молодого опричника — "кромешника", — который скакал к возлюбленной, но задержался на площади под виселицей.

А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни,
Мучений свежий след кругом…
…Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей стег багрила…
Во мгле между столпов
На перекладине дубовой Качался труп…

Одно обращение опричника в коню дорогого стоило:

Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?

Хорошо, что Александр Христофорович ничего подобного не читал. Потому что в роковой день и скакал, и топтал, и с чистой

совестью именовал изменниками.

Но Пушкин постепенно прозревал и другую, неблизкую его друзьям правду: в прибранные "боярские конюшни" ходил черт.

Всем красны боярские конюшни:
Чистотой, прислугой и конями;
Всем довольны добрые кони:
Кормом, стойлами и надзором…
Лишь одним конюшни непригожи —
Домовой повадился в конюшни.
По ночам ходит он в конюшни,
Чистит, холит коней боярских,
Заплетает гриву им в косички,
Туго хвост завязывает в узел…

Кони-то боярские всем довольны. Люди-то царские жаловаться не привыкли. А вот повадился нечистый, и смирные лошади как будто взбесились: "С морды каплет кровавая пена".

Кому уподоблял себя Пушкин: молодому конюху, который ездит по ночам к "красной девке"? Или несчастному "вороному", которого почему-то невзлюбил бес? Вечером конь "стоит исправен и смирен". А утром "не тих, весь в мыле, жаром пышет".

Стихи кончаются обращением:
Ах ты, старый конюх, неразумный,
Разгадал ли, старый, загадку?

С кем говорил поэт? Не с хозяином конюшен. А с тем, кто ближе к лошадям и может узнать правду. Это уподобление Бенкендорфа "конюху" запомним наперед. А пока зададимся вопросом: помощи ли просил "вороной", или автор просто смеялся над служакой? Пока неясно. Потому что и Пушкин еще не решил. Знал только, что бес может заездить.

Глава 4
"КАЗАЛОСЬ МНЕ ТЕПЕРЬ СЛУЖИТЬ МОГУ…"

Прошлый год миновался — грех жаловаться. Новый начинался более чем тревожно. Радовали известия с Кавказского фронта, Паскевич делал свое дело, и мир с персами был уже не за горами. Но вот в Европе… как всегда, поддерживали турок. Требования России соблюдать прежние договоры и перестать резать греков сочли справедливыми. Ополчились на султана и даже совместными усилиями нанесли ему 8 октября 1827 г. сокрушительное поражение при Наварине. Кто же знал, что союзники не пойдут дальше? Станут ссылаться на "европейское равновесие", которое будет нарушено, если Россия защитит свою торговлю на Черном море?

"Наш флот совместно с английскими и французскими кораблями разбил турецкую эскадру… — вспоминал Александр Христофорович. — Как объяснить, что это ожесточенное сражение… не нарушило доброго согласия между этими двумя дворами и Константинопольским Диваном?" А вот "отношения между Портой и Петербургом еще более обострились… Наконец, разрыв стал неизбежен".

К концу зимы из Петербурга вышла гвардия. "Публика без воодушевления отнеслась к новому разрыву… Слишком часто в прошлом этот давний недруг России и православной веры был покорен нашими армиями, он стал слишком слаб для того, чтобы внушать страх или ненависть. Все приготовились к новым успехам и рассматривали человеческие потери и финансовые затраты этой войны как неизбежное зло. которого требует честь и интересы нашей торговли".

25 апреля русские войска тремя колоннами перешли границу на реке Прут. Государь покинул Петербург в последние дни месяца. Бенкендорф, совершавший инспекцию в Витебской губернии, присоединился к нему по дороге. "С этого момента я начал многочисленные путешествия, очень часто располагаясь рядом с ним", — писал генерал.

Да, они изъездили в одной коляске половину империи и почти всю Европу. Александр Христофорович — единственная охрана, которую терпел император. А еще "Вы родились в рубашке" — слова Николая I, то есть выходите сухим из воды. С детства вписаны в августейшую семью. Действуете на бурного

самодержца умиротворяюще. Обладаете завидной выдержкой, опытом, воспитанием, уживчивостью. Всех достоинств не перечесть. Словом, за два прошедших года император успел привыкнуть, что отбрасывает именно эту тень.

"ЕГО Я ПРОСТО ПОЛЮБИЛ"

Но прежде чем отправиться в путешествие — такое желанное и такое почетное, — следовало привести в порядок дела в столице. И среди этой круговерти опять всплыл Пушкин. Буквально накануне похода. В апреле, когда последние распоряжения горели в руках.

С некоторых пор шефу жандармов казалось, что Пушкин поселился у него в гостиной. Но дело обстояло хуже: поэт обосновался у Александра Христофоровича в голове. Это надо же себя так поставить, чтобы он, генерал-адъютант и кавалер, глава высшей полиции, отвечал на письма коллежского секретаря. Стыд!

Да живи они хоть в Пруссии — тоже, кстати, военная, субординационная, беспрекословная монархия, — и Бенкендорф бы не стал терпеть, показал, что подобные отношения неуместны. Оскорбительны для него, заслуженного, ранами и орденами отмеченного человека, к тому же в летах. Сорок семь — не двадцать. Министерское кресло должно бы, кажется, оградить его от подобного бесчестья.

Но слово государя — закон, и он будет-таки отвечать на письма, возиться, вникать в склоки издателей по поводу "похищенной авторской собственности", кому-то, не пойми зачем, отданных стихов и невесть где тиснутых безгонорарно. И это накануне похода, когда дел невпроворот. Одна главная квартира, которой он, Бенкендорф, начальник… Одна охрана государя, за которую опять же с него спросят…

А тут: "Милостивый государь Александр Христофорович… Препровождаю при сем записку о деле моем с г. Ольдекопом…" Последний был виноват в том, что издал "Кавказского пленника" вместе с немецким переводом.

Какое шефу жандармов дело до Ольдекопа?

Главы "Онегина" проходили через его руки в царские и обратно с высочайшим одобрением. Извольте читать. Скучно! Автор болтлив мочи нет. По любому поводу страницы на полторы уходит в сторону. Хорошо, что рецепта брусничной воды в стихах не додумался приложить. Однако барышню жаль, истинно жаль. Добрая, доверчивая, таких в провинции много. А этот хлыщ… и

вот что важно: нигде не служит, никому ничем не обязан и, как следствие, в тягость самому себе.

"Ярем он барщины старинной оброком легким заменил…" Это смотря в какой губернии. Если при большом тракте, где мужики могут сами торговать хлебом, то, конечно, "раб судьбу благословил". А если в недрах срединных губерний, куда и почтовые голуби через раз долетают, то за такое благодеяние могут и красного петуха пустить.

Был в прошлом царствовании Николай Тургенев, осужден по совокупности показаний, сам в Англии, чуть Михаила Воронцова в дело не запутал. Образованный малый. Любил порассуждать, "как государство богатеет", для покойного императора писал трактат по экономике, давал советы правительству. Словом, русский Адам Смит. Однако поехал в имение отца под Симбирском, посадил мужиков на оброк. Через год те оголодали и перестали слать деньги. В чем дело? Рожь продать не могут. Батюшка был у них и покупщик, и вербовщик. В город возил, с купцами спорил, никогда крестьян не выдавал. Так что Онегин не благодетель своим людям, а лентяй. Лишь бы отмахнуться.

Но девицу жаль.

В доме у Бенкендорфа образовалась целая дамская ложа, которую он дразнил "Татьяна к добродетели". Достойнейшая из смертных и самоуправнейшая из жен, Елизавета Андреевна. Три старшие дочки — младшим рано. Езжавшие к ним дамы.

Особенно всех всполошило "Письмо Татьяны". Но, заметьте, не сам факт признания. К этому со времен Руссо привыкли. А то, как нагло кавалер отказал влюбленной девушке. Ему-то, спрашивается, что было делать?

Александр Христофорович слушал вполуха. Никогда не встревал. Себе дороже. Но был и в его жизни случай. В 1816 г. мадемуазель Софья Петровна Толстая, московская барышня 16 лет, пылко влюбилась и хотела выйти за него замуж. "В этом браке меня устраивало все, кроме разницы в годах, — признавался Александр Христофорович, — мне скоро должно было исполниться тридцать, а ей было всего 16 лет; я вскоре должен был покинуть блестящие удовольствия высшего света" а она только входила в него".

А.Х. Бенкендорф с супругой. Литография XIX в.

Пришлось отговаривать:
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

Каково-то было Александру Христофоровичу читать откровения "бедной Тани"? Конечно, "мило поступил с печальной Таней наш приятель", явив чувство жалости и сострадания к ее "младенческим мечтам". Но вот как, оказывается, произошедшее выглядело глазами самой девушки:

Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный

И эту проповедь… Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно.

Хорошо, что жена ничего этого не знала. С годами его восхищение перед ней прошло, сознание правильно сделанного выбора осталось. Когда-то Елизавета Андреевна была редкой красавицей. В родах и хлопотах многое растеряла. Но с тех пор, как их жизнь потекла, будто молочная рука в кисельных берегах, супруга точно застыла на теплом мелководье, и оно, плескаясь, смывало с ее чела морщинку за морщинкой. Погасли темные круги у глаз, кожа наполнилась новым матовым сиянием. Рисовавшая чету английская художница Элизабет Ригби обронила, что мадам Бенкендорф "в самом расцвете своей пленительности". Наверное, права?

Теперь Елизавета Андреевна читала "Онегина" одновременно с государем, а иногда раньше, и выносила свои вердикты.

Бенкендорф мог понять его величество: русская словесность бедна. Вот государь и возделывает сад, из которого плодов не дождаться. Говорит, что в один прекрасный день русский язык процветет, аки крин. Очень может быть. Но пока не видно.

Шестая глава была подана императору вместе с одой, почему-то адресованной друзьям:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет! Хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит…

Снова "плутовство"? Поэт Н.М. Языков — тот, который "Нелюдимо наше море,/ День и ночь шумит оно…" — прочитав список, отозвался крайне нелестно: "Стихи Пушкина "К друзьям" — просто дрянь. Этакими стихами никого не выхвалишь,

никому не польстишь, и доказательством тонкого вкуса в ныне царствующем государе есть то, что он не позволил их напечатать".

Но это ведь не ода. А самооправдание. Что у вас, сударь, за друзья, если доброе слово о высочайшей особе набивает им оскомину? Уж не "друзья ли 14 декабря", как именует их сам Николай I? Или те, кто держался с ними одних правил, но на площадь не вышел и затаился в тени?

Но государь был тронут. Пушкину велел передать искреннее благоволение и… строго-настрого запретил печатать. Смутился.

Так-то: лесть ли, любовь ли, но незачем трепать высочайшее имя по страницам журналов.

"ПОВЕРЬТЕ МНЕ…"

Так чего накануне похода жаждал Пушкин? В марте горел желанием ехать на театр военных действий. 18 апреля повторил просьбу, хотя и так ясно: если молчат, значит, либо заняты, либо не угодно. Но поэты намеков не понимает: "Вновь осмеливаюсь Вам докучать… судьба моя в ваших руках". Не в его, а в государевых. Есть разница. "Ваша неизменная снисходительность ободряет мою нескромность".

Когда это он ободрял нескромность? Не было. 20 апреля писал: "…его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность вашу быть полезным в службе", но "он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих". Кажется, прямее некуда. В конце концов, в России не дворянское ополчение, а регулярные войска. Не могут помещики, даже если им хочется, по звуку трубы повскакивать с мест и отправиться в поход. Всему следует учиться.

Теперь явилась новая идея — в Париж. Балованное дитя! Государево балованное дитя!

"Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже". Это уже от 21 апреля.

Только к лету, когда над рябью дел махнуло белым бумажным крылом разбирательство по "Гаврилиаде", Александр Христофорович запоздало догадался, зачем Пушкину вдруг занадобилось в Париж. Поэт бы там и остался. Никакие грозные окрики архиереев, никакие государственные инстанции до него бы не дотянулись.

А накануне отъезда в армию идея с Парижем показалась Бенкендорфу очередной пушкинской блажью. Ах, если бы он

только мог как следует разобраться в бумагах на своем столе! На многое взглянул бы по-иному. Но когда тут успеть, если утром на доклад, потом в присутствие. И хотя от дворца до Малой Морской рукой подать, но в его чинах не ходят пешком.

В недрах нового здания дружно гудело. Присутствие начальства всегда вызывало у служащих искренний и суетливый интерес к делам. В последние дни перед походом возможность часок-другой поработать спокойно — большая роскошь. В кабинете, на столе, запиравшемся полукруглой, как бок бочонка, наборной крышкой, ворохом лежали бумаги. Все как вчера оставил. Даже пыль не скопилась.

Бенкендорфу доложили две вести. Во-первых, Пушкин, получив милостивый отказ государя, заболел. Пришлось послать в трактир Демута знакомого поэту чиновника А. А. Ивановского с разъяснениями и увещеваниями. Не проситесь-де, милостивый государь, в строй. А просите прикомандирования к одной из походных канцелярий. К Нессельроде, Дибичу или самому Бенкендорфу. Впрочем, тут же все друзья в голос закричали: "Пушкину предлагали служить в канцелярии III отделения!" Пожар!

Во-вторых, пришло письмо от великого князя Константина Павловича, помеченное 27 апреля. Ах, надо бы чиновникам извещать его в другом порядке…

От старшего брата государя глава III отделения вечно ждал подвоха. Если вы, сидя в Следственном комитете, своими руками зарывали улики на членов августейшей семьи, то не будете чаять с этой стороны добра.

"Генерал! Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой?"

Свет клином сошелся на сочинителях!

"…они уже так заявили себя и так нравственно испорчены…"

Кто бы говорил!

"…что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров".

Это было уже второе письмо цесаревича по поводу Пушкина и Вяземского. Первое, от 14-го, выглядело раздумчивым: "Поверьте мне, любезный генерал, что ввиду их прежнего поведения…" Новое больше походило на окрик. А Бенкендорф начальственных криков не любил. Сам никогда не повышал голоса.

Заметим, что великий князь писал не августейшему брату, а его подчиненному. И хотя Александру Христофоровичу, вменялось в обязанность поддерживать контакты с Варшавой и ставить Константина в курс петербургских дел, но принимать эти знаки внимания всерьез цесаревич не имел права. Таковы правила игры. В отношении его соблюдали формальное уважение, как в отношении человека уступившего престол. Но командовать подчиненными царственного брата великий князь не мог.

Не мог. Однако попытался. Проверял степень своего влияния. И степень уступчивости Бенкендорфа. Хотя тот с самого начала был человеком Николая Павловича, перейдя к нему от вдовствующей императрицы Марии Федоровны как бы по наследству. Минуя второго из царевичей.

Накануне войны, когда император рассчитывал в случае надобности обратиться к брату за поддержкой его польских войск, Константина следовало не обижать. Шеф жандармов, конечно, донес на высочайшее имя о его письмах и получил приказание — не раздражать.

Так, неожиданно, Пушкин и Вяземский стали заложниками непростой ситуации, сложившейся в августейшей семье. За что цесаревич не любил князя Петра Андреевича? Намекал на близость к тайным обществам, которая Пушкиным и его другом глубоко спрятана, но не отринута: "Они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы хоть в чем-нибудь положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства".

"ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ У НИХ МНОГО..."

Нечто похожее о Вяземском доносил и Булгарин: ""Московский телеграф" есть издание оппозиционное и своей оппозиционности не скрывающее. В нем беспрестанно помещаются статьи, запрещенные цензурой, и выдержки из иностранных книг, в России не допущенных. После разгрома возмущения 14 декабря это, быть может, один из последних очагов скрытого недовольства… Чему причиной не столько редактор Полевой, сколько его меценат и покровитель князь Вяземский".

Соединив оба мнения воедино, шеф жандармов пришел к выводу, что недаром столь разные люди, как великий князь Константин Павлович и удачливый писака Фаддей Венедиктович, поносят князя Выземского. Скоро и ему предстоит столкнуться

лично… Не хотелось бы.

Сам Вяземский не вызывал у шефа жандармов симпатии. Уволен еще Александром I. Не служит. Обижен. Когда-то переводил на русский язык конституцию, дарованную Польше покойным Ангелом. Полагал, что его текст будет основой для отечественной "Уставной грамоты". Либерал.

Конечно, князь не состоял в тайных обществах и даже не одобрял выхода на площадь. В чем, кстати, следователи, да и сам император, долго сомневались. Однако разгром мятежа и казнь виновных Вяземский пережил тяжело. Не хотел ехать в Москву на коронацию. Писал жене и друзьям откровенные письма. Которые всегда перехватывались. И именно с расчетом на перехват Петр Андреевич высказывался хлестко, надеясь обратить на себя внимание правительства: вдруг заметят и позовут советоваться.

Не позвали. Сочли тон недопустимым. "Небольшое число заговорщиков ничего не доказывает, — писал князь из Ревеля Жуковскому — Единомышленников у них много. А перед нами 10 или 15 лет общего страха после случившегося. И вот им на смену валит целое поколение. Это должно *постигнуть и затвердить правительство*. Из-под земли, где сейчас невидимо, но ощутимо зреет молодое племя, оно пробьется во всеоружии мнений и недовольства. В головах у людей, насильно сдерживаемых, утесняемых на каждом шагу, мучимых надзором, будут роиться ужасные злодейства, безрассудные замыслы. А разве наше положение не противоестественно? Разве не согнуты мы в крюк?"

Мало ли таких точно слов слышали стены Следственного комитета? "Откройте широкое поприще для ума, и ему не будет нужды бросаться в заговоры, — продолжал князь. — Без свободного кровообращения делаются с человеком судороги. Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках?"

Может, Василий Андреевич и ознакомил государя с письмом. Однако император отчего-то именно Вяземского очень не любил. И сказал при просмотре списка заговорщиков: "Отсутствие его имени в деле доказывает только, что он умнее и осторожнее других".

Накануне казни заговорщиков записная книжка Вяземского безмолвно принимала признания: "На днях грянет гром. Хороша прелюдия для коронационных торжеств! Во вкусе древних, которые начинали праздник жертвами и пролитием крови ближнего!"

Супруга княгиня Вера Федоровна звала мужа домой, в Москву, но тот отнекивался: "Для меня Россия будет опоганена, окровавлена. В ней душно, нестерпимо. Сколько жертв и какая

железная рука пала на них! Я не ожидал решимости от правительства, надеялся на проблеск цивилизации. Теперь не смогу жить на лобном месте!"

Вот такой человек вместе с Пушкиным просился в армию. Слыл его ближайшим другом. Как не приписывать им общие мысли? Да и сами эти мысли разве не разумны? Разделил бы, если бы не знал, что за ними реки крови, поля трупов.

"НАПИТАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ"

Легенда делает имя. А Пушкин жил тихо, имел примерное поведение, хватил новую цензуру за послабление авторам и… заметно сдувался, несмотря на то что писать стал лучше, самостоятельнее, не под Байрона. Всякий это чувствовал, но… нет остроты, скандала, вызова. Поэт пробовал, как встарь, езжать к проституткам, кутить с молодыми гусарами, мальчиками 17 лет. Но и мальчики нынче не те. Каждого слова стерегутся. Орут в полголоса. Пьют без расслабления души и мыслей. Без сердечного единения, как бывало с *теми*, с другими, которых нынче нет.

А потому и пить "огадило".

Вдруг война. Явилось чудо, какого не ждали. Вот он, случай напомнить о себе. И не стихами — делом. Избочениться, наскандалить, чтобы во всех гостиных ахали и пересказывали друг другу с краснотой щек, с дамским хихиканьем и восхищенной завистью. Тогда и тиражи пойдут. Вот "Гуан" по 11 рублей за строку. А будет по 22, это точно!

Отказано.

Жуковский оправдывал государя, говорил, что тот намерен поэта беречь.

Те тоже берегли!

И вот Пушкин ни в рудниках на цепи, ни в армии на лихом коне, а значит — нигде. Между небом и землей. Нет ему приюта.

Вяземский тем временем ныл влиятельным при дворе лицам, тому же Жуковскому, как полезно поэту будет оказаться среди картечи. Опальному Александру Тургеневу писал: "Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напитает воображение существенностью. До сей поры главная поэзия его заключалась в нем самом. Онегин хорош Пушкиным, но, как создание, оно слабо".

Для Бенкендорфа хуже всего было то, что, говоря с поэтом, приходилось держать в голове и его неприятного друга. Помнить, что было сказано Вяземскому Что обещано. В чем отказано.

П.Л. Вяземский. Рисунок А. С. Пушкина

Этот человек имел на Пушкина огромное влияние и все время попадался Александру Христофоровичу под руку.

Шеф жандармов знал, что старая знать никогда не простит таким, как он — выскочкам, — своего оттеснения от трона. Сам немец, жена казачка. Коромыслом перешибет. Ее предков у них на дворе секли, ибо предки суть беглые, на вольные земли, подальше от барина. Пушкин вот не понимал, почему ему, неслужившему, необученному человеку, не место в армии. Он 400-летний дворянин. Так извольте.

Настоящая, коренная знать умела показать свое превосходство даже государю. Старые роды, гордые. И где они теперь? На вторых, на десятых ролях. Кому принуждены кланяться? Всякой мелочи, которую надуло из-за границы в петровское окно с косой рамой?

"Аристократия чин[овная] не заменит аристократии родовой", — слова Пушкина. Древние фамилии, владевшие некогда собственными княжествами, чувствовали себя униженными, когда их ставили в равное положением с теми, кто

приобрел знатность и богатство службой.

Пушкин негодовал: "Настоящая аристократия наша с трудом может назвать своего деда. Древние роды их восходят от Петра и Елизаветы. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза всегда требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожников, денщиков, певчих и дьячков спесь герцога Монморанси, первого христианского барона".

В Одессе Пушкин с жаром говорил приятелю М.В. Юзефовичу: "Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных". Однако монархи старались не вспоминать, что когда-то "водились Пушкины с царями". Поскольку это ставило самих царей на одну доску с еще вчера сильными властными семействами.

Однажды Пушкин сказал великому князю Михаилу Павловичу: "Мы, которые такие же родовитые дворяне, как император и вы…" Бояре поставили Романовых царями, но, коль скоро "такие же родовитые", могут отказаться от 1612 г. и избрать республику. Этой нелепицей были полны головы знатных заговорщиков 14 декабря. Ведь и "диктатором" они назначили князя Трубецкого — самого родовитого, куда древнее правящей династии. Когда-то один из Трубецких руководил ополчением и тоже баллотировался в цари.

Поэтому возникший накануне похода 1828 г. вопрос, возьмут ли куда-нибудь Пушкиных и Вяземских, имел политическое звучание.

"ЧЕРТ ИВАНОВИЧ"

Любил ли князь Петр Андреевич Вяземский Пушкина? Сей вопрос являлся у него самого поминутно. Он никогда не завидовал, как Бестужев-Марлинский, не изображал независимости, как Грибоедов, не считал, что его затмевают, как Батюшков, не ставил себя на одну доску, как Катенин. Ведь те, и хуля, оглядывались на Пушкина.

Он же, Вяземский, дружил.

Опекал, направлял, хлопотал. Вяземский знал главное: его друг талантлив. Как сильно? Этому границ не ведал никто. А потому надо прощать, терпеть, утешать. Подавать руку помощи. Но иной раз и его снисходительность подвергалась испытаниям. Как, например, удержать в голове все пушкинские привязанности? Завел дружескую переписку с начальником III отделения и уверяет, будто Бенкендорф обещал взять его на войну в своем штате, для чего выхлопочет чин камергера. Чистой

воды выдумка! Сам наплел и сам поверил. Теперь заболел с горя, услышав отказ государя.

Петр Андреевич лично посетил шефа жандармов, чтобы изъяснить недопустимость подобных игр с Пушкиным — ведь он, как дитя, все принимает за чистую монету. Заодно Вяземский хотел напомнить о себе: сколько можно находиться без чина? Пусть дадут хоть придворный! Для сего князь готовился записаться волонтером в армию. Показать храбрость, заслужить поощрение, а там — дорога будет открыта.

Но Бенкендорф не принял посетителя. Шел с женой в театр, спускался по лестнице. Бросил несколько фраз и только. Позднее аудиенция все-таки состоялась. Обещал передать просьбу государю. Он ли виноват, что отказано?

Но если бы его воля… Все, неприятие себя князь прочитал в глазах шефа жандармов. Так бывает, глянешь на человека и сразу знаешь: не твой. Вяземский поддерживал клевету на Воронцова. Дурно отзывался о высшем политическом надзоре. Ведет себя как отпрыск царя Давида. Считает, что по рождению перед ним должны распахиваться все двери. Хочет давать советы, а служить нет. Ибо вся их служба в советах. Между тем годность — основа империи.

21 апреля от Бенкендорфа князю Петру Андреевичу пришло письмо: император "не может определить Вас в действующую против турок армию по той причине, что отнюдь все места в оной уже заняты".

Такой отказ взбесил Вяземского. И от кого? Он вообще не обязан разговаривать с Бенкендорфом! Настала война, а на войне только и "весело быть русским". Петр Андреевич хотел прямо обратиться к царю. Россия строилась его предками в неменьшей степени, чем предками государя. И его право защищать страну не меньше, чем царская обязанность. Он сказал бы все это лично государю, если бы между коренными русскими и их царем не встали… "Во мне не признают коренных свойств и говорят: сиди себе с Богом да перекрестись, какой ты русский — у нас русские Александр Христофорович Бенкендорф, Иван Иванович Дибич, Черт Иванович Нессельроде и проч. И проч.".

Давно ли сам Пушкин писал, что на такие "готические" фамилии, как Дибич и Толь, "ни один русский стих не встанет"?

Вяземский отстаивал вековое право чудить перед турками, гарцевать в латах и грозить Константинополю. Давал понять начальнику III отделения, что тот перед ним хуже, чем никто, — пес без имени. И ему дело до царя, никак не до псаря. А его, природного князя, свели на псарню, где, как бы ни был вежлив наемный холоп, обустроивший всю царскую свору на немецкий

лад, Рюриковичу без надобности. Ибо его стезя — поверх служилых голов. Прямо на красную дорожку, к златому крыльцу. "Мой путь прямой: на царя, на Россию", — писал он.

Именно в эти дни была закончена последняя строфа "Русского бога":

Бог бродяжных иноземцев
К нам зашедших на порог,
Бог" особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.

Но были и другие строфы. Болезненные для русского сердца. "Русский бог", набело переписанный и отосланный другу Александру Тургеневу, сразу ставил с ног на голову все, сказанное об отечестве: "Бог всего, что есть некстати…"

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог…
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног.
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.

Словом, "я с головы до ног презираю свое отечество", но хочу в нем первенствовать. Кислых сливок Александр Христофорович не пробовал? Или, служа курьером, по родным ухабам не ездил?

Но где ему, "бродяжному иноземцу", понять, что такое любовь-ненависть к своей стране? Трагическая разорванность, когда голова в Европе, а тело и иногда сердце — в России?

Или доказывать, будто он русский? Он немец. Русский немец. Дьявольская разница. Когда впервые это понял? Еще в детстве. Родителей выслали из Петербурга, где оба служили в свите великого князя Павла Петровича. Отец долго не мог найти службу. Наконец, пристроился в Баварии, в Байройте. Сына отдали в городскую школу. Дети всегда бьют новичков. Приехал из России, говорит на немецком не по-здешнему. Стали дразнить "русским". Он сколотил кампанию из таких же бедолаг и задал обидчикам трепку. А в мемуарах писал, что "заставил уважать имя своей нации".

Своей нации. Когда вам один раз с кровавыми соплями объяснят, что вы русский, вы этого *уже* не забудете.

Так что поаккуратнее с "бродяжными иноземцами".

"ОТНЮДЬ НАМ, БРАТЦЫ"

Бенкендорфу Вяземский так не простил. Уже в 1865 г., когда Александра Христофоровича почти два десятилетия не было в живых, написал эпиграмму: "Был генерал он всероссийский,/ Но был ли русским? Не скажу".

"Русским" во вкусе князя Петра Андреевича, конечно, не был. А стоило?

После победы над Наполеоном сестре Долли[6] писать из Лондона: "Какое счастье быть русским!" Тогда, в овеянной их славой Европе, все так считали. А попробуй-ка в отступлении…

После Аустерлица и Тильзитского мира Бенкендорф в 1807 г. был направлен в составе русского посольства в Париж. Их заставили смотреть, как возвращалась во французскую столицу гвардия победителей и несла с собой опущенные знамена побежденных. "Прошло уже тридцать лет, а я не могу забыть того тягостного чувства", — позднее написал Александр Христофорович.

В юношеском стихотворении Пушкина "Наполеон на Эльбе" есть картина, когда народы "робко" вступают под власть диктатора, "знамена чести преклоня". Оказывается, чувства, охватывавшие наших героев, могли быть и сходными.

Но Вяземский испытывал другие. "Эх да, матушка Россия! — писал Александру Тургеневу — Попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее". При этом князь был убежден в своем бессмертии для потомков: "Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда пантеона жандармам".

Никогда не говори "никогда". Тем более в нашем отечестве.

24 апреля, когда ждать было уже нечего, Пушкин и Вяземский отправились гулять в Петропавловку. День был ветреный. Досада трепала обоих.

Ругали правительство за то, что их не берут на войну. Еще больше Бенкендорфа с его холодно-вежливой манерой отказов. Оба были оскорблены выше всякой меры. Душа навыворот.

Слезы из глаз. И то и другое горькое говорили о вечном. О Петре. О "наших", которые здесь… которых здесь…

Остатки ледяного крошева все еще бились о стены. По гребню

шел крестный ход. Оба хвастались друг перед другом атеизмом, и оба, не сговариваясь, пристроились сзади, шли с опущенными головами, крестились.

С Финского в полнеба двигалась туча. Синяя, низкая, тяжелая. Град ударил внезапно, когда из-за реки еще лупило солнце. Стучал по камням, по лицам, по золотым окладам икон, по шелку хоругвей.

Увидели *страшное* место. Отстали от хода, спустились в ров, где из земли еще торчали остатки деревянных столбов, два года назад поддерживавших виселицу. Вяземский достал перочинный нож и стал отколупывать от пеньков щепки. По пяти для каждого. На память.

Заговорщиков не оправдывали. Однако и правительству надо же иметь хоть начатки совести. Накануне князь Петр завершил стихи, под каждой строчкой которых мог бы подписаться и друг:

> Казалось мне: теперь служить могу,
> На здравый смысл, на честь настало время
> И без стыда несть можно службы бремя,
> Не гнув спины, ни совести в дугу.
> И с дуру стал просить я службы. — Дали?
> Да! Черта с два!

Летом Вяземский, вняв уговорам Жуковского и Пушкина, решил объясниться, не с Бенкендорфом — этого в упор не замечал, — а с государем. Написал императору "Исповедь", где осветил причины своего расхождения с правительством Александра I и объяснил, чем именно он будет полезен новому государю: "Мог бы я по совести принять место доверенное, где… было бы более пищи для деятельности умственной, чем для чисто административной или судебной… Желал бы просто быть лицом советовательным и указательным, одним словом, быть при человеке истинно государственном — род служебного термометра, который мог бы ощущать и сообщать".

Вопрос об ответственности даже не вставал. "Исповедь" замечательна иерархией, которую выстроил обиженный Рюрикович. Он разговаривал с императором даже не на равных, а как более знатный дворянин с менее знатным. Удивительно ли, что в условиях войны и постоянных переездов Николай I не отвечал целый год? Не захотел он говорить в подобном тоне и позже. Дело Вяземского не сдвигалось с мертвой точки, пока тот не обратился с формальной просьбой.

Оценим мрачноватый юмор государя: "термометр" был послан не в III отделение, которое занималось как раз обзорами

общественного мнения и на которое намекал князь словами: "Ощущать и сообщать", а в Министерство финансов. Последним руководил Е.Ф. Канкрин — опять немец, доктор права, генерал, граф, отъявленный трудоголик, всего добивавшийся сам и обеспечивший серебряное содержание рубля. Егор Францевич, конечно, полюбил беседовать с Вяземским, но работой его не обременял, понимая, что князей не впрягают в воз с государственными бумагами.

Обчелся я — знать не пришла пора,
Дать ход уму и мыслям ненаемным.
Вот так, отнюдь нам, братцы, людям темным
Нельзя судить о правилах двора.

Внесенное в текст "отнюдь" из письма Бенкендорфа показывало, на кого негодует Вяземский. Тем временем Пушкин тоже рвался и рвал душу. К Языкову писал:

Оставить был совсем готов
Неволю Невских берегов…
…Схватили за полу меня,
И на Неве, хоть нет охоты,
Прикованным остался я.

Петербург, прежде такой желанный по сравнению со "спесивой" Москвой, теперь являл "дух неволи, стройный вид". А Языков жил в Германии, избавленный от "сиятельного чванства". Нетрудно догадаться чьего.

Полно, да было ли чванство? И с чьей стороны?

СТРАСТИ ПО МАРКУ АВРЕЛИЮ

Вдали от столицы, оставив "интриги по ту сторону фрунта", Александр Христофорович мог бы благоденствовать. Но придворные "камеражи" — слухи и каверзы — не отставали.

Случались страшные оказии. В прошлом, 1827 г. пришел форменный донос на генерал-губернатора Одессы М.С. Воронцова — брата Михайлу. С этой бумажкой разбираться пришлось не один месяц.

Император поставил к донесению 60 вопросов. Обвинения были серьезны. Разорил город. Нарыл колодцев, из которых, вместо воды, идет грязь. Замостил улицы дурным камнем,

который на другой год начал крошиться. Пустил казенные деньги на акционерную компанию по перевозке товаров из Константинополя. Все равно что украл!

Пояснения, которые Бенкендорф давал спокойным, будничным тоном, заставляли императора и самого глядеть на дело проще, без сердца. Вот беда — Николай Павлович не мог. Во всяком случае, сразу. Потом, через час-два, лучше по прошествии ночи, чаще бессонной, отпускало. Начинал мыслить свободнее. Точно расстегивал воротник. Дышал ровнее. А сразу… нет. не получалось.

Когда его величеству было пятнадцать, ему задали написать сочинение на "Похвальное слово Марку Аврелию". Он прочел и преисполнился жалости, даже до слез. Долг повелевает монарху действовать при отсутствии точных сведений. Вслепую, Неизбежны ошибки, обиженные люди, чьи-то судьбы.

Все это они уже проходили в Следственном комитете. Но зачем же "в отсутствие точных сведений"? Скоро поход на юг. Император сам все увидит в Одессе…

Николай I не любил откладывать решения, они его мучили. Но с годами все чаще обнаруживалось: скорость — сестра неведения. С Воронцовым вышло, как Бенкендорф и предрекал. Когда шеф жандармов в Одессе сказал другу про донос, у того руки затряслись. Прошлый государь его не любил. И бил больно. Теперь новый начал?

Новый был мрачен. Сразу при встрече выразил недовольство. И сам поехал проверять. Пробовал воду из скважин. Кивал: жаль, глубже пока не можем. Топал по тротуарам. Диабаз — тяжелый камень. А ракушечником мостить не годится. Под городом рыть не стоит, дома осядут. А если разбирать остатки старого турецкого замка Хаджи-бея? Уже жители растащили на дома? Шустро.

По мере объяснений лицо государя светлело. Тогда ли решил поручить Воронцову осаду Варны? Или позже, когда ранили командовавшего А.С. Меншикова? Бенкендорф и подсказал: возложите дело на Воронцова — снабжение армии, госпитальную службу наладил, но этого ему мало, человек с размахом.

За четверть века они всегда оставались друзьями, что бы между ними ни случалось. С последней встречи в 1827 г. брат Михайла окончательно поседел. Стал больше сутулиться и как-то нездорово вздергивать плечами, жаловался на приступы лихорадки. Впрочем, много еще осталось от прежнего — сухощавого красавца, чей благородный вид и нездешняя джентльменская манера держаться поражали окружающих. Сам Бенкендорф полюбил его не за них. Добрый, очень щепетильный

человек, хотя и скрытный.

Они вместе служили на Кавказе еще юношами в 1801 г. Тогда Михаил вроде бы даже опекал беспечного Христофорова сына. Удивился, когда в деле его друг оказался головокружительно храбр. Так храбр, что даже видавшие виды "кавказцы" вскоре научились выговаривать его фамилию. Рота тянулась за командиром, и после череды боев на Куре за ней закрепилась репутация отчаянной. Надо ли было навести мост через реку под обстрелом противника или совершить рейд в глубь немирной территории по балкам и ущельям до самого Казбека, Бенкендорф легко брался за это и выходил сухим из воды.

Потом, когда дороги развели друзей по разным армиям, они часто встречались и много писали. Кто теперь кого опекал? Кто кому был обязан?

Воронцов прискакал в лагерь под Варной в коляске, за три дня проделав путь из Одессы. Все осмотрел, после чего засел в палатке с Александром Христофоровичем. Говорили сначала о войне. Понимали, что за спиной у турок британцы. Англия — великая морская нация. Русские — народ сухопутный. Двум державам тесно. И если молодой император этого не понимает, его будут учить. И персами, и турками, и поляками, а если понадобится… то и собственными силами Британии.

Бенкендорф вспомнил, как Воронцов по секрету показал ему британскую карикатуру. Там особенно зло нападали на Россию. И особенно яростно защищали Порту. Пока государя рисовали верхом на двуглавом орле, орущем обоими клювами: "War! War!" — еще ничего. Но тут появился бильярдный стол, вокруг которого сгрудились все монархи Европы. С одной стороны молодой русский царь с кием забивал шары в лузы. С другой… никого не было. Сбоку в ужасе прыгал султан в шароварах и феске и рвал на себе волосы. А напротив с флегматичной улыбкой сидел премьер-министр герцог Веллингтон и опирался на кий.

Любому, кто смотрел картинку, становилось ясно, что мы играем *не с турками.*

Потом вспомнили о двух неприятных вещах. Прежде всего о Ермолове. Всех в армии занимало падение сей вершины. Из "проконсулов" в отставку. Воронцов негодовал. Бенкендорф его осаживал сведениями из Следственного комитета.

Государь Ермолова оставил в должности, несмотря на явные улики. Если бы при нападении персов Алексей Петрович показал, что стеной сторожит Кавказ, на все россказни против него закрыли бы глаза. Но Ермолов попятился. Пришлось посылать Паскевича. И тот с чужими войсками, которые его не хотели и не

признавали, отбился. Да как отбился! Погнал персов аж за Эривань. Теперь Ермолов сидит в Москве и над всеми издевается. Эривань — сарай сараем, нечем гордиться. Так почему же он сам не взял город, раз там тыны из глины?

Говорили, что они с государем, тогда еще великим князем, впервые схлестнулись в Париже в 14-м году. Августейший брат на маневрах послал Николая Павловича выразить артиллеристам свое неблаговоление. Тот, как водится, вздумал повысить на генерала голос. Ермолов, экий богатырище, смерил мальчишку тяжелым взглядом и бросил: "Ваше высочество слишком молоды, чтобы кучиться, а я сед, чтобы слушать".

Не это ли причина взаимной неприязни? Не месть ли со стороны государя?

Любви, конечно, между императором и Ермоловым быть не могло. Ибо Ермолов друг Константина. Но государь умеет обуздывать свою неприязнь. Научился. А вот Алексей Петрович, как доносят из Москвы, нет.

Воронцов понял: в Ермолове опасаются честолюбия, древнеримских замашек. Считают, будто он мнит себя новым Бонапартом. Может, и правы.

БРАТ МИХАЙЛА

Второй предмет, о котором они говорили, — Пушкин. И тут генерал-губернатор вообще не нашел что сказать хорошего. Он терпеть не мог такие характеры, как у Байрона, и людей, которые ведут себя так, что всем остальным становится неловко.

Но вот за жену — паче общего убеждения — был спокоен.

В 1824 г., когда накануне высылки из Одессы поэт решил объясниться с Елизаветой Ксаверьевной, "он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской". Значит, таков был разговор, что Пушкину пришлось бежать по жаре. Генерал-губернаторша тогда жила на взморье, на хуторе Рено, а неподалеку снимала хутор Вера Федоровна с маленьким сыном. Именно ее доброхотному языку графиня была обязана распространению нелестных слухов о романе с поэтом. Между тем "простая добрая баба", как именовал Вяземскую поэт, всего лишь хотела отвлечь публику от своего вольного поведения с другом мужа.

Среди неотосланных пушкинских писем есть одно — неизвестной даме. Оно не окончено, не датировано и первоначально относилось исследователями к июню — июлю

1823 г., поскольку лежало среди бумаг этого периода. Признак очень зыбкий: документ может затеряться и быть переложен. Позднее появилась более обоснованная датировка, относящая письмо к началу приезда Вяземской в Одессу, когда она, Воронцова и Пушкин втроем прогуливались по берегу моря.

В письме описана ситуация, очень близкая к рассказу Вяземской о бегстве Пушкина с дачи Рено. "Не из дерзости пишу я вам, но я имел слабость признаться вам в смешной страсти и хочу объясниться откровенно. Не притворяйтесь, это было бы недостойно вас — кокетство было бы жестокостью, легкомысленной и, главное, совершенно бесполезной, — вашему гневу я также поверил бы не более — чем могу я вас оскорбить; я вас люблю с таким порывом нежности, с такой скромностью — даже ваша гордость не может быть задета… Припишите мое признание лишь восторженному состоянию, с которым я не мог более совладать, которое дошло до изнеможения. Я не прошу ни о чем, я сам не знаю, чего хочу, — тем не менее я вас…"

Датировке приведенного письма помогает строка: "Будь у меня какие-либо надежды, я не стал бы ждать кануна вашего отъезда, чтобы открыть свои чувства". Пушкин объяснился с Воронцовой на даче Рено 30 июля 1824 г., буквально задень до того, как графиня покинула Одессу, чтобы отправиться к матери в Белую Церковь. Сам поэт выехал в новую ссылку под Псков 1 августа. О том, что между героями, вопреки желанию ряда исследователей, не случилось романа, свидетельствует пушкинская эпиграмма на графиню, написанная уже в Михайловском, по горячим следам уязвленного сердца:

Лизе страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь — может быть,
Это новая Диана
Притаила нежну страсть —
И стыдливыми глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.

Поэт понимал, что его отвергли, но не верил в искренность отказа. Пока для него "Верная жена" — комедия, которую играют женщины, не решивши еще, с кем бы "упасть". Слова "между вами" — отсылка к друзьям, оставшимся в Одессе, тогда как сам Александр Сергеевич вышел из игры. Отзвуком этого ощущения полно и приведенное письмо.

После всего этого, после крайне оскорбительной эпиграммы

Воронцов сохранил невозмутимость и не стрелялся с поэтом. Чем только подчеркивал: они не ровня. Генералы с коллежскими секретарями не дуэлируют. Что, конечно, еще более бесило Пушкина. Ибо 400-летний дворянин никому не уступит!

Предположения, будто струсил, нелепы. Михаил Семенович, по свидетельству сослуживцев, был абсолютно бесстрашен, даже начинал скрыто презирать любого, в ком замечал тень испуга. При этом сострадателен и милосерден. С Бородинского поля графа привезли в коляске в Москву. Там готовился к эвакуации дом его покойного дяди-канцлера, теперь наследство самого Воронцова. Молодой граф приказал разгружать телеги с золотыми приборами, коврами, мебелью и класть на них раненых, которые валялись по улицам. Повез в родовое имение Андреевское. Устроил госпиталь. Лечил на свои же деньги. На втором этаже барского дома весь паркет был в метках от костылей…

Потом, уже после войны, когда Воронцов командовал Оккупационным корпусом во Франции, узнал, что господа офицеры наделали долгов у местных лавочников. А отдавать нечем. Весна, победа, девушки… Заплатил за всех.

М. С. Воронцов. Художник К.К. Гампельн

И в Мобеже, где стоял корпус, и в Одессе графа любили. По мнению подчиненных, "он не мог сделать ничего несправедливого, немудрого, не тонкого…". Ему кадили даже за глаза. То-то Пушкин невзлюбил обедов у его сиятельства:

Он улыбнется — все хохочут.
Нахмурит брови, все молчат.

Он здесь хозяин. Это ясно…

Ведь влюбленность в прекрасную генерал-губернаторшу — только повод для ссоры. Причина же в соперничестве иного рода. Денди не должен терпеть ничьего превосходства. Его обязанность — добиться первенства в любом обществе, куда он вступает. Отобрать женщину. Опозорить. Потому и "полугерой, пол у подлец". Повторять не хочется.

Под конец брат Михайла удивил. Он, оказывается, только что прочел "Руслана и Людмилу" — через 11 лет после написания, — а разве у генерал-губернатора мало бумаг? И восхитился. "Какой у нас удивительный язык. Сколько красоты, гармонии… Может, и мы когда-нибудь станем переписываться по-русски?"

Может быть.

Бенкендорфу тоже было на что жаловаться. Как хорошо жилось, когда раньше молодыми ругали правительство! Теперь правительство — это они. Ругать некого.

Что до Пушкина, то на него никакого ума не хватит. Но самое худшее — у поэта явилась тьма непрошеных покровителей. В первую очередь дам. С которыми ухо востро. Вмиг обнесут перед государем.

"GRAND GALA"

С первой из таких дам Александр Христофорович сталкивался даже слишком часто. Она познакомилась с Пушкиным еще в 1826 г., во время коронации, а в следующем попыталась взять его под крыло.

Елизавета Михайловна Хитрово — "Лиза grand gala", как ее дразнили в городе за любовь к музыке и неуместное стремление обнажать плечи. Дочь фельдмаршала Кутузова, супруга барона Тизенгаузена, потом нашего посла в Неаполе Хитрово, она осталась после его смерти с двумя дочерьми от первого брака и при очень скромном содержании. Покойный государь Александр Павлович воззрел на ее бедствия и поправил дело солидным пансионом, что позволило Елизавете Михайловне вернуться в Россию уже гранд-дамой с дочерью Катей.

Последняя имела неосторожность понравиться в Италии прусскому принцу Вильгельму, брату нашей императрицы. Был роман. Елизавета Михайловна повсюду преследовала юношу, как гончая. Требовала жениться. Но дело замяли. И в отечество мадам Хитрово приехала уже с воспитанником, маленьким князем

Эльстоном, на содержание которого берлинский двор отпускал солидную сумму. Мальчика назвали Феликсом, что значит "счастливый". Действительно счастливчик — племянник императора, и, как бы закрепляя родство, отчество ему дали Николаевич.

Сама же Катрин Тизенгаузен, скромная и довольно застенчивая, снова ходила в девицах. Таков свет. "Он не карает заблуждений,/ Но тайны требует для них". Потом из Вены приедет старшая сестра Екатерина — Долли — с мужем-послом Фикельмоном, и семейство воссоединится.

Все эти сокрытые от посторонних глаз пружины ставили Елизавету Михайловну очень близко к императорской семье и делали своей в дипломатическом корпусе. Опасное сочетание.

Кроме того, эту даму считали проводником австрийской "инфлуенции". Что Александр Христофорович не утаил от государя при составлении отчета своего ведомства: "В обществе говорят, что Австрийская политика начинает опять (со времен Александра I. — *О. Е.)* приобретать влияние… Госпожу Хитрово называют австрийским агентом".

Если бы Пушкин чаще посещал гостиную Хитрово, то вызвал бы только еще больше вопросов у властей.

Вяземский, которому не было до иностранных шпионов никакого дела, оставил о Елизавете Михайловне самые трогательные, самые восторженные воспоминания: "Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни), и вечера дочери ее графини Фикельмон неизгладимо врезаны в память тех, которые имели счастье в них участвовать… Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая" литературная и общественная" имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты… в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня" начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи… А какая была непринужденность" терпимость" вежливая" и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок…"

Елизавета Михайловна принадлежала к числу тех женщин, которых годы не то чтобы красят — примиряют с несовершенством натуры. Она выдалась в отца, только что не крива на один глаз. Ее тучное тело требовало не корсетов, а белых лосин, обтягивающих ляжки и живот. А круглая

физиономия — белой же ермолки, в которой так часто изображали Кутузова. Этой фигуре не соответствовали ни тонкий ум, ни острый язык дамы, которые вкупе с манерами львицы превращали ее в арбитра светской жизни.

Прибыв в столицу, она обзаводилась новыми полезными знакомствами и возобновляла старые родственные связи, подзабытые за годы "австрийского пленения". По матери мадам Хитрово принадлежала к Бибиковым.

Бибиковы же были частью семейного клана Бенкендорфа. Родней первого мужа добрейшей Елизаветы Андреевны. Через них Александр Христофорович примыкал к старой русской знати и мог иметь влияние в этом кругу.

Женившись, он и не предполагал, что у Елизаветы Андреевны такая заметная родия. А тут выяснилось: нет, не к побочной ветви могучего рода когда-то примыкала правнучка полковника Донца. Не с дальней порослью скрестили дичку-яблоньку. С самим что ни на есть великим и многоплодным деревом.

Бибиковы — старинное семейство, въевшееся в землю, перекрестившее нити грибницы с таким числом знатных фамилий,

что не сосчитать. Их, как зуб тянуть, не вытянешь, скорее скулу своротишь. Прежняя свекровь — Екатерина Александровна — всей Москве либо сватья, либо крестная. Ее даже в глаза зовут grangranmaman. Пятьдесят два внука. Покойный муж этой дамы — родной брат княгине Голенищевой-Кутузовой, жене фельдмаршала. А та — баба ушлая, без мыла в любое присутственное место…

Между тем под покровительством Бенкендорфа находилась не только бывшая невестка старухи Бибиковой, но и сироты ее старшего сына — две падчерицы. Они давно называли Александра Христофоровича рара. Он не возражал. Но сие не повод лишать их законного наследства от погибшего родного отца. Недаром шефа жандармов именовали "образцовым отчимом".

Именно Александр Христофорович когда-то заставил родную бабушку выделить им приданое из того, что осталось за отцом. Вышло недурно. От grangranmaman по дарственной к внучкам перешло: Кате тысяча пятьсот душ, а Елене каменный дом в Москве, старый Пречистенский дворец, еще с екатерининской мебелью, картинами, сервизами, столовым и постельным бельем.

За это он обеспечил покровительство и рост по службе всем Бибиковым. А через них удавалось сдерживать пылкий темперамент мадам Хитрово, чуть что собиравшейся в крестовый поход на защиту Пушкина. "Она была неизменный, твердый *и*

безусловный друг друзей своих… в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда можно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого". Вяземский знал, что говорил. За него Елизавета Михайловна тоже умела замолвить словечко.

Правда, летом этого года Пушкин и его влиятельная поклонница, говорят, поссорились. Генерал не вдавался в подробности, но, если верить слухам, почтенная матрона воспылала к Прекрасному Иосифу русской литературы "языческой любовью" и вела себя непристойно. Рассказывали даже о какой-то разорванной рубашке.

Врут, конечно.

Плохо другое. Пушкин тут же сблизился с дамой еще более непредсказуемой и опасной. С Аграфеной Закревской, супругой нового министра внутренних дел. И вот это уже была проблема.

"МЕДНАЯ ВЕНЕРА"[7]

Конечно, беда крылась не в самой графине Закревской. Таких женщин Бенкендорф одобрял.

Венера-искусительница. Львица, отдыхающая от полуденного зноя. Возьмет то, что ей нужно, и не подумает никого смущаться. Скромность, стыдливость, неведение — уздечки, которые слабые мужья надевают на тех, с кем природа поделилась первобытной силой.

Летом при осаде Варны, помимо прочего, шеф жандармов задумывался: а что лично для него значит роман Пушкина с мадам министершей? Может ее супруг, по просьбе жены, оказать сочинителю покровительство в каком-нибудь деле? И если да, то какая выйдет министерская пря! Из-за коллежского секретаря. Забавно!

Между тем Пушкин благоденствовал в дружеских объятиях графини Закревской и уверял себя в том, что ему никто не причинит зла, пока его пассия имеет достаточно влияния на мужа.

Да, да, их связывала дружба. Так бывает между пресыщенной умной женщиной с богатыми задатками и молодым одаренным мужчиной, которым нечего предложить друг другу, кроме полного, абсолютного понимания.

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,

И ты по приговору света
На честь утратила права;

Один среди толпы холодной
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю…

Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы;
Тебе один остался друг.

Аграфена была не только лакомым куском, но и крепким орешком. Об нее легко ломали зубы и покойный государь Александр Павлович, и муж, и десятки кавалеров, чьи имена сохранила лишь светская хроника, а сама красавица мигом выкинула из головы. Она не помнила зла, но всегда искала новизны ощущений.

Между тем с недавно назначенным министром внутренних дел отношения Бенкендорфа были из рук вон. Еще с 1820 г., со времен бунта Семеновского полка, когда Главный штаб, дежурным генералом которого был Закревский, попытался переложить ответственность за случившееся на плечи одного Александра Христофоровича, тогда начальника штаба Гвардейского корпуса.

Его сделали крайним. Причем во время выступления солдат из всего руководства только он находился в городе — остальные разъехались на дачи и на просьбы явиться не отвечали двое суток. Тогда Бенкендорфу пришлось одному разговаривать со служивыми. А потом еще выслушивать упреки спрятавшихся: почему не доносил, что негодяй полковник Шварц оскорбляет семеновцев?

Доносил. И в Главном штабе под сукном лежали его сообщения, что Шварц — креатура Аракчеева — не годен. Не годен, но угоден, отвечали ему. И дальше дело не шло.

Доигрались в политику!

При разбирательстве "семеновской истории" Закревский написал рапорт о том, чего своими глазами не видел: "Бенкендорф,

генерал иностранный, просто не умел прилично действовать; он не знает достаточно русского солдата, не умел хорошо объяснить по-русски и не знает, какими выражениями и какой

твердостью должно говорить с солдатом, чтобы заставить себя понимать и повиноваться".

Это он-то не умеет разговаривать с русским солдатом? А всю войну через переводчика беседовал?

Такого не забывают.

После назначения Закревского министром внутренних дел трения между ними были неизбежны. Создайте в государстве две полиции и попробуйте разделить их функции, что получится? Бардак.

Арсений Андреевич настаивал на том, что тайный сыск должен находиться в его ведомстве. Как было при покойном государе. Но тогда же и проворонили заговор 14-го, возражал Бенкендорф. Новый государь хотел, чтобы высшая полиция подчинялась его канцелярии. Однако Корпус жандармов — внутренние войска — очевидно соперничал с полицией Закревского, и за него шла главная драка.

Им дела уголовные, нам — политические. Что делить? — недоумевал Бенкендорф. Арсений Андреевич надувался, как рыба-еж, и резонно отвечал, что из уголовных дел жандармы на месте стараются раздуть политику. Дабы оправдать свое существование, неизменно вворачивал он. А любое политическое преступление так или иначе отягощено уголовщиной.

Словом, министры делили шкуру, а медведь еще бегал, рычал и нападал на поселян.

С Пушкиным дело осложнялось еще и тем, что прежде надзор находился в ведении Министерства внутренних дел. После того как наблюдение за поэтом было восстановлено, им ведало III отделение. Но в неразберихе функций можно было переиграть хотя бы один частный случай. А не демонстрирует ли Пушкин свою независимость? Вот о чем следовало, но, как обычно, не хватало времени подумать.

Глава 5
ПОГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО

"Я знаю, что это будет тебе неприятно и тяжело, — писал Пушкин Вяземскому в конце января 1829 г. о Бенкендорфе. Он, конечно, перед тобой не прав; на его чреде не должно обращать внимание на полицейские сплетни…"

Хороши "полицейские сплетни" — прямое требование цесаревича Константина не пускать их в армию!

"Но так как в сущности это честный и достойный человек, слишком беспечный, чтобы быть злопамятным, — продолжал поэт по-французски, — и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе, не допускай в себе враждебных чувств и постарайся поговорить откровенно".

Вяземский остался при своем мнении. Но любопытно другое: Пушкин обвинял Бенкендорфа в беспечности. Не наоборот. Впрочем, считал хорошим человеком.

О да, он легкомыслен, потому что поминутно не занят делами поэта. Но благороден и сам, по душевному убеждению, не сделает зла.

Примерно то же, но о своем подопечном говорил шеф жандармов императору: "Он все-таки порядочный шалопай, но, если удастся направить его перо и его речи, он будет полезен".

Забавно. Они оценивали друг друга сходным образом. И оба норовили использовать. Насколько позволяло легкомыслие и благородство. В III отделении теперь всегда брошюровали пушкинские рукописи. А вскоре начнут и печатать.

Однако иной раз складывались такие обстоятельства, когда и шеф жандармов не мог помочь. Только сам государь. "Борис Годунов" и "Андрей Шенье" — мелочи в сравнении с "Гаврилиадой".

РАЗВРАЩЕНИЕ ДВОРОВЫХ

В июне 1828 г. три дворовых человека отставного штабс-капитана Митькова подали петербургскому митрополиту Серафиму челобитную на своего хозяина, он-де читал им "Гаврилиаду" и тем развратил "в понятиях православной веры".

4 июля Митькова арестовали, а поскольку в обществе приписывали текст Пушкину, было принято решение "предоставить с. — петербургскому генерал-губернатору, призвав

Пушкина к себе, спросить: им ли была писана поэма". 25 июля выписка об этом, подготовленная III отделением, пошла на юг, в действующую армию, к Бенкендорфу.

Что такое "развращать крестьян", Александр Христофорович знал со времен войны. Для этого вовсе не обязательно было таскать девок на сеновал. Достаточно хозяину самому колебаться "в понятиях православной веры".

Еще на краешке Смоленских земель, в селе Самойлове под Гжатском, казаки, споткнувшись об околицу, обнаружили мародеров. Большинство порубили сразу, к вящей радости мужиков и особенно баб. Крестьяне приходили ныть, чтобы им отдали пленных на истязание, которое перед смертью они полагали естественной расплатой за грабеж: им же на небесах легче будет, если здесь отмучаются. Бенкендорф отказал.

Серж Волконский вызнал у дворовых, что имение принадлежало их светской знакомой — Princesse Alexis. Княгиня Александра Голицына была тайной католичкой. Везде возила с собой аббатов и готовилась сама ехать в Америку, проповедовать среди дикарей.

Крестьянам между тем представлялось, будто хозяйка, водя дружбу со схизматиками, навела на их деревню французов. "Вот тебе аббат Николь! Вот аббат Саландр! Вот аббат Мерсье!" — вопили они под окнами разграбленного дома.

Волконский стоял на крыльце и помирал со смеху. Все перечисленные были его преподавателями в пансионе, где и Бенкендорф учился четырьмя годами старше. Он тоже давился хохотом, при этих грозных для детского слуха именах. Но было что-то странное в том, как княгиня сначала привела в имение добрых проповедников, а потом за ними пришли не столь добрые люди с оружием. Убивать, грабить, насиловать…

Дело о "развращении" дворовых Митькова могло бы показаться смешным, если бы поэма не оскорбляла Пречистую Деву. Сначала Пушкин отнекивался. Призванный к генерал-губернатору П.В. Голенищеву-Кутузову, он "решительно ответил, что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее".

Ему не очень поверили. Дело постепенно набирало обороты.

ПЕРЕГОВОРЫ

Тем временем осада Варны шла своим чередом. Капудан-паша решил, как принято у турок, завести ложные переговоры, чтобы дать своим войскам передышку. На улицах валялось уже

двенадцать тысяч трупов, их никто не убирал, живые экономили силы.

Явились парламентеры. Николай I впервые видел турецких представителей так близко. Его позабавили горлатные шапки, как у старинных бояр на картинках. Куньи, крытые разноцветной парчой с золотой выворотkой шубы — это в июле-то! К чалмам он уже привык, но паши в торжественных случаях надевали нечто, похожее на белые пирамидки со срезанными вершинами. Точно несли на голове творожную горку пасхи.

При этом турки никак не могли примериться к регулярному лагерю. Ткнулись сначала в ретрашемент — не туда. С прежней торжественностью пошли всей ватагой вдоль длинной стены из дерна, окружавшей Главную квартиру. Не обрели входа и стали, вздыхая, но сохраняя серьезные непроницаемые лица, спускаться в земляной ров — видимо, считали, что гяуры придумали для них новое унижение.

Не выдержав, государь послал своего генерал-адъютанта навстречу. Минут через десять шубы и шапки добрались до центра лагеря и стали озираться, ища самый яркий цветной шатер. Им и в голову не приходило, что белый царь примет их в походной палатке, разве что побольше размером.

Его величество соблаговолил выйти. Надо же было обозначить свое присутствие. Турки, против ожидания, не попадали ниц. Такое им позволялось только в отношении своего монарха. С остальными предписывалось вести себя дерзко. То есть стоять столбом. Кроме того, на Востоке считается неприличным смотреть в глаза — это вызов. Николаю Павловичу сие не полюбилось, и он, ни слова не сказав, удалился в палатку.

Там император некоторое время метался от матерчатой стены к стене, мучаясь гамлетовскими вопросами. Может, выйти? Но состоявшие при государе генералы удержали: на Востоке любезность и вежливость принимаются за слабость. Сами переговоры — обманка.

Чтобы не лишать его величества удовольствия лично удостовериться в коварных планах противника, Воронцов вышел на улицу и задал через парламентеров традиционный вопрос: согласен ли достопочтенный Изет-Михмет-паша покинуть крепость на условиях почетной сдачи, то есть с оружием?

Турки запросили несколько дней для размышления, что и требовалось доказать. В ответ на их наглость государь приказал подводить порох под стены.

Когда три пролома в укреплениях Варны были сделаны, сто пятьдесят человек Гвардейского экипажа и триста пятьдесят егерей пошли в город. Прорвались ночью, почти без боя. Учинили

на улицах переполох. Турки переоценили отряд, думали, что начался настоящий штурм. Но потом опомнились, стали стрелять с крыш. По команде, поданной от Воронцова из-за стен, русские отступили.

Участники вылазки принесли радостные, злые вести — почти все дома разрушены, улицы завалены мертвечиной, запах такой, что с непривычки с ног валит. Колодцы забиты нечистотами. Оставалось подставить руки и ждать падения яблока.

На следующий день в лагерь явились парламентеры, а за ними в чалме-арбузе очень грустный Юсуф-паша, верховный визирь и командир албанских всадников. Вот эти переговоры были настоящими.

Воронцов предупредил, что почетные условия ныне невозможны, поскольку русская сторона их уже предлагала, а османы отказались и повторение с нашей стороны будет бесчестием. Император согласился с этим мнением. Юсуф-паше предоставили место для шатра, и тут же в лагерь привалило огромное количество турок под видом охраны визиря — у них-де так принято. Грязные, загорелые, с жадными глазами. Только бы не занесли болезней.

Но хуже их были приехавшие из Одессы на особом корвете дипломаты. Они спустились на берег, и Главная квартира стала совсем пестрой от чужих мундиров, перьев и лент.

Утром государь не узнал лагерь. Повсюду были разбиты либо турецкие шатры — полосатая тканая тряпка на нескольких палках, — либо сновали длинноногие и весьма ушлые личности в очках — а очкастых его величество не любил, подозревая в либерализме. Отчасти он был прав, разномастная братия занималась тем, что во славу вожделенного "равновесия" советовала Юсуф-паше, что просить у русских. Неожиданно для Воронцова молодой царь повел себя умно и зрело: отвлек советчиков на себя. Англичане и австрийцы предлагали сотни способов разрешения конфликта. Их проекты не отвергались, а, напротив, принимались на рассмотрение. И так до бесконечности.

Государь размашистым шагом ходил по невообразимому табору. Минутами вокруг не было ни одного русского. Случалось даже — только турки. Абсолютная уверенность императора в том, что с ним ничего не случится, уже сердила Бенкендорфа. Он хмыкал, втряхивал саблю в ножны и ни на шаг не отставал. Но от этого опасность не исчезала. Если захотят, зарубят обоих.

Для охраны оставались только пикет пехоты и гвардейская рота, расположенные на откосах высокого холма, обнимавшего лагерь. Нервозность довела Бенкендорфа до того, что он подтянул к Главной квартире Бугский уланский полк. Гнедые

лошади гарцевали за ретрашементом, что отчасти успокаивало генерала. Переговоры шли в виду 25-тысячной турецкой армии, которая стояла напротив Варны, не решаясь атаковать русских, но и не позволяя ни на секунду забыть о своем присутствии. Что вселяло в турок неуместную гордыню. Попробуй выстави условия, когда у побежденных такой резерв!

"ПРЕГЛУПАЯ ШУТКА"

Бабка императора Екатерина II иностранным волонтерам отказывала. А посредников на переговорах не терпела. Но тогда вся Европа была отвлечена на войну Англии в колониях. А сейчас занимается только Россией. Император делал все от него зависящее. Однако зависело-то не все!

Из Петербурга же сведения шли своим чередом. Узнав об очередном несчастье с Пушкиным, государь приказал главнокомандующему столицы П.А. Толстому, бывшему "отцу-командиру" Бенкендорфа, чья карьера теперь делалась не без помощи Александра Христофоровича, снова спросить поэта: "от кого получил он" богохульные стихи. И добавить, что "открытие автора уничтожит всякое мнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина".

"Открытие автора". Поэт попытался приписать стихи покойному поэту князю Дмитрию Горчакову. В начале сентября он писал Вяземскому: "Мне навязалась на голову преглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность".

Писалось с явной надеждой на перлюстрацию. Прочтут и успокоятся: Горчаков умер. Но кто же в здравой памяти примет блестящие, легкие строки "Гаврилиады" за чье-то творение, кроме пушкинского?

Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.

Разве стихи Пушкина требуют подписи? Здесь каждое слово — подпись.

Чиновники, хоть и не слишком разбирались в стилях, Пушкину все-таки не верили. А потому председатель

Государственного совета почтенный В.П. Кочубей (кстати, несостоявшийся тесть Воронцова) напомнил Толстому, что после дела "Шенье" за Пушкиным установлен "секретный надзор". А кроме того, Пушкина обязали подпиской не выпускать впредь никаких сочинений без рассмотрения цензуры. То же подтвердил Толстому и Голенищев-Кутузов. Оставалось только призвать самого поэта и потребовать разъяснений.

Пушкин показал: "…ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия и кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное".

Там, на юге, шеф жандармов должен был понять, что Пушкина оскорбили. За ним шпионят, его мучают.

Между тем под Варной были иные шпионы. Без голубых мундиров. И расхаживали они открыто — поскольку считались дипломатическими представителями. Но за ними требовался глаз да глаз. Например, наблюдатель Великобритании полковник Джеймс Александер, прежде находившийся в персидской армии. Он имел официальный статус. Род неприкосновенности. Гулял по лагерю с альбомом в руках. Зарисовывал русскую форму! А как по мнению Бенкендорфа, так делал наброски укреплений. Слава Создателю, они временные и ничего не стоят.

Александеру в русском лагере даже нравилось. Его привычный глаз выхватывал сотни деталей. Солдатские палатки шьют в один слой. Дождь если начнется, будет просекать. Офицерские удобны и двухслойны. Дерновая обкладка высотой около фута предотвращает затекание воды внутрь. Ремни и портупеи вешают на дерновую же стенку, огибающую несколько палаток зараз. Если неприятель прорвется в лагерь, из-за этого укрепления удобно будет стрелять.

Рядовые спят по шесть человек. На соломе, в шинелях. Русские вообще не любят раздеваться на ночь. Что в остальной части империи объясняется холодным климатом — не очень-то приятно менять одежду на сквозняке. А здесь застарелой привычкой.

Полковника удивила полевая часовня на насыпном холме. Большой тент на шестах был увенчан тремя крестами. Рядом с ним сколоченная из бревен звонница. Внутри несколько образов и серебряные лампады. За ними алтарь, перед которым постоянно сменяются молящиеся. То солдаты, то офицеры со снятыми фуражками и на коленях. Непривычное зрелище. Русские религиозны и весьма привержены своей странноватой ветви христианства.

Если турки захотят взять лагерь наскоком, им это вряд ли

удастся. Он защищен редутами и укреплениями для пушек и мортир. Внутреннее покрытие опять же из дерна. Выложено отвесно. Щели амбразур прямые. По гребню бруствера установлены пушки. Частоколы из жердей ниже, чем в Англии.

Даже под крепостью шли маневра — не маневры, учения — не учения. Уланы в синих мундирах, грубых рейтузах с кожаными вставками по внутренней стороне ноги и в касках без плюмажей выезжали полк за полком. Серые, гнедые, вороные, рыжие лошади — всем полагался свой цвет, чтобы в сумятице боя ориентироваться не только по форме, но и по шкурам животных. Александер вмиг оценил это преимущество. Но сами кони мелких местных пород. Значит, на подножном корму. Выносливы, но не сильны в ударе. Впрочем, зачем уланам железный кулак? Они легкая конница, их смысл в наскоке.

Показалось странным, что русские легкие ружья подвешены через левое плечо за ремень и не приторочены к седлу. Они должны раскачиваться и мешать наезднику. Но если их приторочить покрепче, как в британской армии, будет сложно выхватывать.

Кроме того, странная манера езды. Всадники одновременно выбрасывают и локоть и носок ноги. Если прижимать носок, то всадник держится и бедром и коленом. Но маневры — одно. Бой — другое. Очень мало людей вылетело из седел. Опытные офицеры учат своих держаться по-казачьи.

Кроме Александера, английских "наблюдателей" хватало. Бенкендорф имел сведения, что эмиссары добираются в гористую сердцевину Крыма подбивать татар к возмущению. Татары готовили волнения под Бахчисараем, но больше, чтобы пограбить. Начади резать караимов, хотели забрать себе их дома. Тут всех и повязали. Но если дать разгореться… Никто ничего не гарантирует, когда в тылу у воюющей армии начинается мятеж.

Были и сведения на поляков. Они строили наполеоновские планы относительно Одессы. Польские офицеры, служившие в Дунайской армии, готовились захватить порто-франко, чтобы обеспечить прямую помощь из Англии и Франции восставшим соотечественникам в коронных землях Польши. Собирались ли соотечественники восставать? Хотели ли европейские державы предоставлять им помощь? Наконец, по силам ли было горстке офицеров захватить город? Все эти вопросы повисали в воздухе.

На переговорах Юсуф-паша отступал медленно. В день по шагу. В конце концов сошлись на том, что русские не возьмут город на саблю. Напротив, гарантируют жителям жизнь и скарб. Домов у них все равно уже нет.

Но помимо Юсуф-паши, в городе командовал присланный из Стамбула Капудан-паша. Он мог отказаться. Первому гарантировали большой пансион и мирное проживание в Одессе. Он никогда не увидит Стамбула! А хочет ли он его видеть? Его жен и детей казнят — у него будут новые.

Юсуф-паша удалился сообщить Каиудан-паше. Как и ожидалось, тот встал на дыбы — требовал возвращения к первоначальному варианту И тут визирь пошел ва-банк: доверил старейшинам города весть, что жителей обещали пощадить. Те открыто вышли из подчинения Капудану и заявили о себе как об особой стороне в переговорах. На следующий день они явились в русский лагерь, тряся седыми бородами и ожидая от самих гяуров услышать, что горожане, их жены и имущество останутся целы.

Государь усомнился, должен ли он вообще с ними разговаривать. Но его уверили: именно с ними и следует вести переговоры. Это отцы города. Из уважения к белизне их голов люди сделают так, как они велят. То есть откроют ворота.

Подумав, его величество явился к старейшинам во всем блеске своего милосердия. И дело было решено.

Все подпортил только Капудан-паша, наотрез отказавшийся сдаваться и затворившийся с горсткой воинов в цитадели.

Старики плакали, так как им обещали пощаду только при условии полной покорности. Если раздастся хоть один выстрел… На улицах и в руинах домов царил ужас.

Чтобы хоть отчасти смягчить сердце белого царя, ночью на русскую сторону галопом прискакал огромный конный отряд албанцев. Об их приближении известила дрожь раскаленной безводной земли, по которой копыта лошадей стучали, как по дну сковороды. Чтобы вклиниться между незваными гостями и лагерем, Бенкендорф приказал Преображенскому полку и трем эскадронам гвардейских егерей спуститься с горы. Каково же было всеобщее удивление, когда турецкие кавалеристы спешились, сняли оружие, достали котлы и сели на землю. Они не то чтобы сдались. А просто перешли от Капудан-паши, следуя за своим родным предводителем Юсуфом, чтобы тот не очутился у русских как в плену.

Последний уверял, что сейчас русским даже кошка дороги не перескочит. Откройте дверь и войдите в дом.

Были взорваны ворота со стороны порта, и русские полки вступили в Варну с развернутыми знаменами, барабанным боем и пением полковых груб. Каргина, представившаяся их глазам, не поддавалась описанию. Огонь батарей уничтожил целые

кварталы. В развалинах кое-где прятались люди. Они не осмеливались ни сопротивляться, ни даже просто показаться победителям.

Император сдержал слово: никаких обид жителям.

Можно ли их было еще чем-то обидеть? Когда войска подступили к цитадели, турки не оказали вообще никакого сопротивления. Флегматично сидели на брустверах и покуривали трубки, с абсолютной покорностью судьбе глядя, как неприятель занимает все уступленные позиции.

Все было кончено. От зловония, царившего на улицах, мутило самых крепких. Император держался в седле и даже не закрывал лицо платком. Лошади, быки, бараны, человеческие трупы запружали улицы и разлагались на раскаленном летнем солнце.

Среди груд щебня, в квартале, выходившем на рейд, в глубине одного из разрушенных дворов пряталась православная церковь. Низкая, темная и старая. Никто не мог бы объяснить, как она уцелела, находясь на прямой линии огня.

Государь приказал служить там молебен. Обедня на пепелище произвела на Бенкендорфа сильное впечатление. Он думал о странностях судьбы, о том, почему ни один снаряд… А еще больше о том, как сами мусульмане, страдая от жестокой осады, не пришли разрушить храм и побить камнями тех, кто, разделяя с ними тяготы, все-таки бегал сюда и надеялся на победу русских?

Впору было и неверующему уверовать. Тем временем из Петербурга приходили сведения, которые показывали: "Гаврилиада", скорее всего, написана Пушкиным. Государю следовало либо явить милосердие к автору. Либо соблюсти целость веры. Либо поступить по учению Христа. Либо защитить это учение.

В столице от поэта требовали подписки не публиковать ничего без цензуры. 17 августа Пушкин даже написал Бенкендорфу отчаянное письмо, которое не решился отправить. "Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных глазах, и я, твердо чувствую, того не заслуживаю и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену".

"ОБЖИГАЮЩАЯ БОЛЬ"

Тем временем нежданное событие сбило Александра Христофоровича с ног. Смерть брата. "Я был совершено не готов к такой обжигающей боли", — писал он.

Их разница с Константином составляла три года. Но братьев с чистой совестью можно было бы признать близнецами. Не только лица, манеры, интонации, даже почерк — все казалось похожим. Разным был лишь масштаб бедствия. Если в Александре все качества принимали эпический размах, то Константин казался строже, тише и упорядоченнее. Он и сложением-то был деликатнее. Значит, слабее.

Четыре года назад в Штутгарте, где Константин служил послом, умерла золовка Наталья, урожденная Аллопеус, дочь екатерининского дипломата. Бенкендорф рванул туда.

Встреча была ужасной. Брат его не узнал, даже не встал, когда открылась дверь. На похоронах посол еще держался, а дома взвыл, как потерянный младенец. Не помнил ни счета времени, ни что с ним на самом деле произошло. Все казалось, что Натали рядом, что она садится в кресло, заводит раз говор, зовет детей, а те не идут. И он кричал, бил по столу рукой, требовал привести сына и дочь. А от них чтобы они целовали мать и слушались всех приказаний. Шли гулять или, напротив, спать, получив ее благословение.

Девочка плакала, а мальчик стал злым и отчужденным, так сильно испугался. В любом случае детям здесь не место, решил Александр Христофорович.

К.Х. Бенкендорф. Художник Дж. Доу

Он видел, какой мавзолей брат отстроил для Натали. И себе место выкопал. Хорошо, что дату собственной смерти не приказал выбить.

Такая любовь. Бывают красивые семьи. Среди тысяч обычных. И хотя Константин с самого начала знал, что у Натали чахотка, но все надеялся, что Господь подкинет еще годок. Так прошло 14 лет.

Обратно Бенкендорф возвращался с племянниками. Глядел на малышей, таких похожих на его собственных, и думал, как странно складывается жизнь. В 14-м году, после свадьбы брата, подарил ему свою деревеньку Сосновку. Думал, зачем самому? Он — перекати-поле. А тут семья. Настоящая. По любви. Может, на старости лет и он притулится? Теперь выходило: и дом у него, и к своим пятерым везет еще двоих. Единственное горе — смерть. Все остальное поправимо.

С началом войны Константин отправился на театр военных действий, что, но мнению брата, отвлекало от дурных мыслей.

Разве он мог подумать, что для Кости это последняя кампания?

Сначала пришли вести о распространении чумы у турок.

Потом одно-два донесения о вспышках на нашем берегу. Испуг был велик. Начали окуривать всех курьеров и каждый подаваемый на высочайшее имя конверт. Пришла почта. Государь удалился к себе. Но вскоре вышел с каким-то растерянным лицом. Взял за руку: Константин в Праводах, где его отряд… заразился и за два дня…

Бенкендорфу показалось, что его голова стала медная и по ней со всей силы ударили молотком. Он двинулся прочь, не обращая внимания на то, что император вовсе не давал ему разрешения уйти. Его брат! Его замечательный брат! Младший… Несправедливо!

Возможно, болезнь и не была чумой? Жара, грязь. И доктора не нашлось поблизости! Винил себя: вывез брата в Россию, на войну… тяготы походной жизни… А они уже не мальчики. Все глупо. Непоправимо.

Тело Константина запаяли в гроб из свинца, снятый отрядом с захваченной в городе мечети, и в таком странном трофее отвезли в Штутгарт, где опустили в усыпальнице рядом с могилой Натали.

"СВОБОДНАЯ СТИХИЯ"

После взятия Варны решено было вернуться в Петербург. "При мне все идет плохо" — таков был вывод императора по поводу первого года компании. И правда, командирам следовало развязать руки. А то они поминутно оглядывались на государя. Его свиту уже дразнили "золотой ордой".

Следовало возвращаться. Причем часть дороги по воде. Император любил море, но без взаимности. Неприятности начались давно: еще в 1824 г. великокняжеская чета отправилась навестить родных принцессы Шарлотты. Увеселительная прогулка по Балтике растянулась на шесть недель сплошного шторма — насилу выбрались на берег. С тех пор раз на раз не приходилось. Когда плыли, когда шли ко дну.

Государь хотел поспеть в Петербург к 14 октября, на именины матери. Очень похвально! Но делать по степи 200 верст в жару? Только до Одессы. А там пару дней лежать пластом. В то время как на корабле можно просто сидеть и потягивать рейнское. Ну, это Бенкендорф о себе, не об императоре. Кто и когда видел его величество сидящим с бокалом? А жаль. Расслабляет.

В конце концов, сколько государь не отнекивался, Александр Христофорович уговорил его плыть. Тем более что линейный корабль, принявший всю их "золотую орду", назывался

"Императрица Мария". Как не уважить?

При почти попутном ветре корабль вышел из Варны и полтора дня двигался самым благополучным образом. Сияло солнце. О борт плескалась синена, переходившая на отмелях в зелень. Низко над волной летали чайки, выхватывая рыбу. То тут, то там появлялись стайки дельфинов, вызывая неизменный интерес у команды.

Но на закате солнца над горизонтом протянулась длинная красная полоса. В темноте подул сильный ветер, волны расходились и начали заливать палубу. Высокий линейный корабль лишь немного возвышался над бурной пучиной. Его, как скорлупку, то вздымало наверх, то несло с черной непроглядной горы в бездну.

К утру команда была уже вымотанной и валилась с йог. Встречный ветер не стихал. Какое-то время корабль лавировал. Но потом капитан приказал спустить паруса и лечь в дрейф. Часть рангоута на бизань-мачте и часть такелажа были разбиты. Раскачивало так сильно, что люди не могли устоять на ногах и работы по починке прекратились. Матросы заклинили руль, и корабль отдался ярости волн. Все, кто мог, улеглись в гамаки. Кто не мог — на пол и привязали себя веревками к выступающим частям внутренней обивки.

Их гнало в сторону Босфора. Еще сутки такой погоды, и корабль выбросит на мусульманский берег. Встал вопрос: если плен неизбежен, то что турки потребуют? Уступить все, что взяли в нынешнюю компанию. А кроме? Деньги? Отказ грекам в помощи? Молдавские и валашские земли? Разоружение флота?

Крым.

Это сказал Воронцов и предложил решить дело по "Морскому уставу" Петра Великого. Государь согласился.

"Аз есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овцы своя". Решено было положить пистолет на бочку с порохом. Офицеры "Императрицы Марии", до которых донесли мнение императора, согласились. Некоторые свитские — напротив. Но было видно, что Николай I пренебрежет их мнением.

Только через 26 часов сила ветра начала стихать. Он изменил направление и больше не гнал корабль к неприятельскому берегу. Экипаж смог выбраться на палубу и чинил порванные снасти.

Была опасность опоздать на именины. Едва сойдя с корабля, государь приказал гнать что есть мочи. Бенкендорф приписал это запоздалой реакции на корабельные страсти. Испуг настиг его величество спустя двое суток после того, как опасность миновала. Но император сказал, что мучается непонятной тоской, будто он

больше не увидит мать. Причин вроде бы не было.

В Елисаветграде они только вдвоем отстояли ночное бдение, Николаю Павловичу чуть полегчало, и дальнейший путь он держался покрепче. 14 октября, как и было обещано, государь прибыл в столицу и, никем не узнанный, прошел утренними улицами во дворец. Его приветствовала Шарлотта и дети. Но император искал глазами Марию Федоровну, а она не выходила.

Пришлось сознаться: вдовствующую императрицу уложили лейб-медики. Известие о взятии Варны привело пожилую даму в такое радостное волнение, что она целые сутки не могла ни о чем говорить, кроме этого. А потом слегла.

СТРАСТИ ПО МАРИИ

Никто не верил в дурной исход, потому что за всю жизнь Мария Федоровна ничем не болела. Большую часть времени она проводила в Павловске. Этот дворец — место ее истинного счастья — она получила в собственность по завещанию супруга, бедного государя Павла Петровича. Тут Мария Федоровна пряталась от зла, приносимого в ее жизнь высоким положением супруга, а потом двух сыновей.

Впрочем, государыня была не робкого десятка. И созерцательности в ее натуре хватало ровно на мизинчик. Как и покойная свекровь, она вставала рано, часов возле шести. Обливалась холодной водой. Пила крепкий кофе. Работала с бумагами. Свои дела почтенная дама вела сама. Управление имениями, вклады в банки, доход с уральских заводов и сибирских рудников… Потом наскоро завтракала и принималась за *дела чужие*. А именно: богоугодные заведения, больницы, приюты, училища для девиц — все, что в бюджете проходило по графе "Ведомство императрицы Марии" и на что она умела-таки выбить деньги сначала из одного сына, а потом из другого.

Вся первая половина дня уходила на поездки. Вторая, наступавшая довольно поздно — около пяти, отдавалась рисованию. Мария Федоровна писала пейзажи, натюрморты, сама гравировала, лепила и вырезала камеи с профилями детей. Последнее умение ей тоже как будто досталось от свекрови. Даже удивительно, когда люди живут долго бок о бок, то кровь перестает иметь значение. Таланты могут быть завещаны так же, как драгоценности.

Отношения Марии Федоровны и покойной Екатерины II не были теплыми. Невестка не могла простить государыне-бабке, что та забрала у нее старших сыновей — Александра и Константина.

В конце концов, мальчики выросли чужими отцу, и это привело к трагедии. Кроме того, деятельная натура великой княгини билась в узком мирке малого двора. Ей негде *было* развернуться. Но и восшествие на престол Павла I не распахнуло окон золотой клетки — у мужа были иные женщины, прихоти которых он исполнял и советов которых слушался.

Неожиданное горе — смерть Пауля — резко изменило судьбу императрицы. Замкнутая и холодная супруга Александра не смогла занять главенствующего положения при дворе. Спряталась. Ушла в тень. А Мария Федоровна, с ее деятельной натурой, любовью к праздникам, пышным выходам и участию в делах света, оказалась пупом земли. Ее донимали прошениями, жаловались, взывали о помощи, просто ставили в известность. Ибо знали, что вдовствующая императрица командует окружающими, как жена дивизионного генерала, к которой офицеры потихоньку бегают занять целковый, спросить совета о приданом невесты и вызнать о возможном производстве в новый чин.

Так, Мария Федоровна превратилась во всероссийскую "Матушку", и эта роль шла ей как нельзя больше. Высокая, статная, белокурая, она, благодаря полноте, до зрелых лет сохраняла свежесть лица. Подданным нравилось и то, что многими повадками государыня копировала покойную свекровь. С тем отличием, что ее репутация оставалась чиста, как лист гербовой бумаги.

И вот теперь эта женщина умирала.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна. Художник Дж. Доу

Когда-то, еще на родине в Вюртемберге, Мария дружила с матерью Александра Христофоровича. Привезла подругу в Россию. Выдала здесь замуж за генерала свиты цесаревича Павла. Стоически перенесла опалу верной Анны фон Шиллинг, когда та вздумала защищать ее от фаворитки мужа Екатерины Нелидовой. Узнала о смерти подруги во время шествия двора из Петербурга в Москву на коронацию Павла в 1796 г. и имела смелость потребовать себе день остановки, "чтобы оплакать" бедную Анну. А главное — тут же взяла детей под свое покровительство.

Для Марии Федоровны даже выросший и оплешивевший воспитанник оставался мальчиком, пусть и в больших чинах. Вдовствующая императрица всегда была и ему другом. Умным, предусмотрительным, сердечным, когда надо. И абсолютно безжалостным, когда требовали обстоятельства.

Именно она следила за карьерой и продвигала воспитанника по службе, что получалось весьма туго при покойном государе Александре Павловиче. Умела выхлопотать назначение, где потеря головы или следующий чин неминуемо следовали из

исполнения приказа. Платила его долги. (Стыд-то какой! Сейчас он это понимал, а тогда, по молодости…) Запретила жениться на французской актрисе. Как бы ни любил — не ровня. А когда он все-таки нашел достойную женщину, встала на его сторону против целого света. Послала тетке невесты, вздумавшей выведывать о женихе, икону в белом полотенце — благословить!

Бенкендорфу разрешили проститься сразу после августейшей четы. Царица, как всегда, была настроена твердо. Заявила, что оставляет крестнику кое-какое наследство. Оказывается, давно знала, что он собирает деньги на имение Фалль в Эстляндии. Вот от нее в подарок и получит. Чтоб была память.

Там и лес, и водопад, и море за соснами, и черничники — сколько хватает глаз. Вот замок еще предстоит построить. Но она знает как и на что. Чудный будет дом. С башенками, гербами, флагами, с подъемными мостиками над импровизированными рвами. С цветниками по куртинам. С розовыми полосатыми маркизами над окнами. Не дом — игрушка.

В свои последние минуты Мария Федоровна думала о его доме! Непостижимо. Нет, этой женщине ничего нельзя было поставить в упрек, "кроме чрезмерной строгости к собственным детям". Это он от государя в дороге наслушался жалоб. Да и сам не раз попадал под горячую руку. Но в такую минуту… Нет, ничего нельзя поставить в упрек.

Марию Федоровну хоронили не формально. С воплями отчаяния и расцарапанными лицами. Давно такого не было. За три десятилетия вдовства она успела столько сделать для пансионов, сиротских и воспитательных домов, просто для обращавшихся к ней за помощью, что толпы шли и рыдали совершенно без понукания. А вечером на поминках — не за императорским столом, конечно, а в своем кругу и по кабакам — куча полковых и гвардейских чинов упилась до положения риз. Ибо многим, очень многим густые эполеты на плечи надела именно царица-вдова, по просьбе жен, матушек, теток. Приискивала местечки, советовала венценосным сыновьям то того, то другого нужного человека. Потеряв ее, иные чувствовали, что лишились крестной. Полиция всю ночь подбирала их по улицам, имея устное приказание никого не волочь в кутузку, а развозить по домам. Повязали одного лишь пехотного капитана, который бодал головой фонарный столб и, рыдая, спрашивал у деревяшки, кого теперь назначат вдовствующей императрицей[8]. Кому сдались подданные и сироты? Что, в сущности, одно и то же.

"ВОПРОШАЕМЫЙ ПРЯМО"

В городе надели траур. Уродливые чепцы с вуалями у дам. Глухие черные галстуки и повязки на рукавах мундиров у мужчин. Высоченные зеркала, которые одни могли бы составить гордость Зимнего, были задернуты крепом. Диваны в чехлах.

Ковры скатаны. Дворец имел вид не столько погруженного в печаль, сколько готового к переезду.

Кабинет государя выглядел каким-то обугленным. Точно в нем, не переставая, топили камин. Черные ошметки копоти осели на рамы картин, кое-где валялись закопченные кусочки бумаги. Матушка приказала Николаю с братом Михаилом после ее смерти прочесть и сжечь все дневники, письма, журналы. Три дня они трудились. Государь потом сказал: "У меня такое чувство, будто я второй раз похоронил мать".

Столько откровении! Особенно о царствовании бабушки. Великое время. И такие низменные, животные страсти… Вспомнились рассказы Карамзина. После записки "О старой и новой России" писателя пригласили во дворец прочесть лекцию младшим великим князьям. Мальчишки не показались Николаю Михайловичу внимательными.

"Когда ваша великая бабушка…" — начал он.

"Великая? — перебил Николай, — А мама творит, что она опозорила нашу семью".

Карамзин покашлял.

"Опозорила семью? Да, наверное. Но прославила Россию. Выбирайте, ваше высочество".

Выбрал ли государь теперь? Вряд ли. Но Екатерина Великая умела ценить таланты. Ценить и прощать. А он? И в талантах ли сейчас дело? Ведь государь уже знал: Пушкин виновен. Из его собственных уст. Вернее, строк.

2 октября 1828 г. поэт написал императору прямо: "Будучи вопрошаем правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году. Повергая себя милосердию и великодушию царскому, *есмь* Вашего императорского Величества верноподданный *Александр Пушкин"*.

Это было тайное письмо. Принято считать: между человеком и человеком. Но надо бы, как полагал сам Пушкин, между царем и дворянином. Никто не знал содержания эпистолы. Разве только Бенкендорф, и то по дружбе. Какую позицию он занял?

Во всяком случае, не отговаривал от милосердия, что видно из последующего решения государя.

Однако не "милосердие" играло в поступке Николая I главную роль. Поэтому он так долго и думал — до начала декабря. Как

глава православной державы — Удерживающий, — император не должен был прощать богохульство. Но как помазанный царь имел силу взять грех на себя. И отстрадать за чужое нечестье. 1 декабря он поставил на очередном докладе о "Гаврилиаде": "Мне это дело подробно известно и совершенно кончено".

Какое облегчение! Потому что всю осень — любимое время, как говорил Вяземский, для "случки Пушкина с музой" — у поэта в голове царила одна "Полтава". Стихи клокотали в ней и как бы рождались сами собой, помимо его воли. Он просыпался утром и лежал до полудня в кровати, записывая то, что успело набежать за ночь. Из всех времен года осень была самой урожайной, даже когда приходилось проводить ее в Петербурге. Хотя города — мерзость! Особенно наша Северная столица.

Дожди, дожди, дожди! Но и здесь бес стихотворства не оставлял Пушкина. По окнам текли потоки, искажая отражение в стекле новой ртутной пленкой, сквозь которую улица теряла четкость, вытягивалась или округлялась. Но да зачем на нее смотреть? Пушкин писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он вскакивал с постели и пытался нацарапать что-то впотьмах.

Когда голод заворачивал кишки кренделем, Пушкин спешил в трактир. Строчки гнались за ним или опережали на полквартала — приходилось догонять. Было смешно заходить и садиться за стол, потому что никто не замечал, как посетитель держит на веревочке целую флотилию из слов, на скорую руку соединенных рифмами. Подавали есть, задевали за его сокровище ногами, а стадо разноголосых и разномастных восклицаний росло, набегало, звало с собой знакомых, и вот уже весь трактир начинал мычать, цокать, наполняться людской молвью и конским топом.

Прибежав домой, Пушкин загонял проклятые рифмы на лист и тем самым привязывал их к бумаге. Теперь они никуда не могли деться. Но голова все выплевывала и выплевывала следующие. Набирались сотни строк за день. Иногда шла проза. Но когда Пушкин брался за отделку, оставлял лишь четвертую часть — остальное никуда не годилось. Шум и гам.

Траур по вдовствующей императрице, ее пышные похороны — все прошло мимо. Земные боги падают в Лету. Поэзия остается. Хорошо, что осень так отвратительна. В Италии с ее солнцем и ярко-голубым небом он не стал бы трудиться. Слишком подвижен. Не сидит дома. А в Петербурге свинцовые тучи, слякоть и туман точно держали Пушкина под арестом.

Что могли сделать ему за "Гаврилиаду"? Приговорить к церковному покаянию в монастыре на хлебе и воде. Год. Или

полтора. Он выбрал бы Святые Горы. Однако можно ли там писать? И совсем не хотелось выглядеть неблагодарным в глазах императора. Ведь обещал! Ведет себя как нельзя пристойнее — из последних сил. Сколько может прошлое догонять и хватать за руку? Он больше не безбожник! Не "афей". С тех пор как появился этот государь — нет.

В начале сентября пришло собственноручное письмо императора. Чтобы огласить его, Пушкина призвали в комиссию. Ужасно было тащиться туда, волоча за собой хвост из "полтавских" строчек, и на каждое слово, сказанное извне, выплевывать мысленно куски поэмы.

Наверное, граф Петр Александрович Толстой почел стихотворца слегка не в себе. А может, пьяным?

Был он красавец мужчина, в летах, но статный и весьма сообразительный. Говорят, сроду ничего не читал. Поклеп, конечно. По лицу видно, не дурак. И не такой, как наши хитроватые мужики. Или чинуши, мыслящие лишь о размере взятки. Нет, хорошая такая рожа, чуть выше гарнизонной, чуть ниже придворной. Не интриган. Служака. Не без мозгов.

Вот что было написано в ордере: "Сказать ему", то есть поэту, "моим именем", то есть августейшим, "что, зная лично Пушкина, я его слову верю, но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем". Вот так.

После этих строк поэт и написал покаянное письмо. И его простили. Толстой под рукой сказал, что больше трогать не будут. Еще до декабря сказал. Осенью. Отпустил душу на покаяние.

Пушкин вышел на улицу. Строчки куда-то разбежались. Видно, попрятались со страху. Поэт застучал тросточкой по мостовой, скликая их. И по мере того как приближался к Демутовой гостинице, все больше заматывался в кокон новых двустиший, все хуже слышал звуки, доносившиеся извне. Дошло до того, что на проспекте его чуть не сбила извозчичья лошадь. Он отскочил и, даже не выругав седока, побежал к себе в 33-й нумер, боясь рассыпать по дороге рифмы.

Глава 6
МЕСТНОЕ СЛОВО

Если император принял решение относительно "Гаврилиады" после падения Варны, даже по зароку — возьмут, простит, — то и роковое плавание на "Императрице Марии", когда Николай I едва не погиб, и потеря матери — расплата за чужой грех.

Записка государя написана в декабре. Но о том, что его простили, Пушкин знал еще в октябре. И пил за здоровье императора. И называл его своим спасителем.

А в ноябре 1828 г. Вяземский писал Жуковскому: "До меня дошел… слух. Бенкендорф, говоря о Пушкине, сказал, что он, Пушкин, меня называет своим Демоном[9], что без меня он кроток, а я его пеню… Такой нелепый слух, одна из заповедей жандармских".

Это случилось уже после разбирательства с "Гаврилиадой". Значит, шеф жандармов смягчал перед царем вину Пушкина: тот-де писал о Пречистой Деве непохвальные вещи, имея под рукой личного демона, который его "пенит".

"Ты знаешь меня и Пушкина, — призывал в судьи Жуковского корреспондент. — Есть ли во мне какие-нибудь мефистофельство, и буде бы было, Пушкин такой ли человек, чтобы признаться, что есть в людях ключ, способный его заводить? Похоже ли подобное признание на самолюбие Пушкина?"

"УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК..."

Между тем достаточно почитать переписку поэта с другом, чтобы заметить — в письмах к Вяземскому Александр Сергеевич и циничнее, и развязнее, чем в других посланиях. Пушкин вообще с редкой чуткостью подстраивался под корреспондента. Видимо, беседы с князем Петром Андреевичем расковывали оборотную сторону его души. Но и от нее поэт не отказывался.

…Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный разворачивает список;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В "Сцене из Фауста" под личиной собеседников угадываются сам Пушкин и Вяземский. Причем образ Мефистофеля отдан именно другу. Но еще откровеннее романтическая повесть "Уединенный домик на Васильевском острове". В октябре Пушкин "к тайному трепету дам" рассказал в салоне у Екатерины Карамзиной страшную историю. А молодой автор В.Н. Титов записал ее и опубликовал под псевдонимом Тит Космократов в "Северных цветах" у Дельвига.

Титов вспоминал: "Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие прически", поразили воображение молодого Космократова. Воротясь домой, он не мог уснуть, пока не занес услышанное в тетрадь. Утром отправился в трактир Демута и показал Пушкину свой труд. Тот сделал несколько поправок и разрешил печатать.

В повести беспечный юноша Павел знакомится с бесом Варфоломеем, который предстает перед ним в человеческом обличье. Юноша наделен чертами самого поэта: он легкомыслен, высокомерен, вспыльчив, не переносит насмешек, готов взбеситься от одного неудачного слова, боится, что оскорбитель "избегнет его правдивой мести".

Цель Варфоломея — похитить душу неопытного друга. Для этот он сводит его с красавицей графиней, которая по обмолвкам прежде была или до сих пор является любовницей самого Варфоломея. За этим изображением "графини" угадывается "медная Венера" Аграфена Закревская, когда-то благоволившая и

Вяземскому, а ныне произведшая Пушкина "в сводники"[10]. У графини "черные, большие, влажные очи" — глянцем глаз щеголяла и Аграфена Федоровна. Она "недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое" — поведение, свойственное госпоже Закревской после возвращения из Италии.

Судя по письмам к Е.М. Хитрово, роман с Закревской изводила поэта: "Я имею несчастье состоять в связи с умной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем". Герой "Домика" "хотел то заколоть" возлюбленную, "то объясниться с нею".

Пушкин тоже ревновал и не смирялся с положением наперсника:

> Но жалок тот, кто молчаливо,
> Сгорая пламенем любви,
> Потупя голову, ревниво
> Признанья слушает твои.

Даже слушать Закревскую о ее прежних похождениях было нестерпимо:

> Но прекрати свои рассказы,
> Таи, таи свои мечты:
> Боюсь их пламенной заразы.
> Боюсь узнать, что знала ты.

В доме у графини идет широкая игра в карты (черта из реальной жизни поэта, который в тот момент не расставался с игроками) — здесь бесы ставят на кон души обманутых людей.

Но еще любопытнее само место, где разворачиваются события. Оно описано очень подробно, точно дано направление поиска: "Возьмите… северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива… Строения вовсе исчезают, и вы идете мимо ряда просторных огородов, которые по левую сторону замыкаются рощами… Ров, заросший высокою крапивой и репейниками, отделяет возвышенность от вала… а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор… все погребено в серые сугробы, как будто в могилу".

На Васильевском острове современники локализовали безымянное погребение пятерых повешенных декабристов. В

контексте истории "уединенного домика" этот намек может быть истолкован двояко: и как прямое указание места, и как изменение отношения Пушкина к своим юношеским пристрастиям. По прошествии лет они рассматриваются как опасные, едва не утянувшие его душу к гибели.

Герой истории Павел какое-то время играет с чертями, но потом спохватывается, решает бежать и от соблазнительной хозяйки притона, и от самого Варфоломея. Ложный друг почти настигает его в санях. Если бы не утро и не церковь Николы Чудотворца — юноша бы погиб.

Говорящим оказывается и имя героя — Павел. По новозаветной традиции апостол Павел долго преследовал христиан. Пока ему не явился сам Господь и не спросил: за что тот гонит Его? Для встреч императора Николая I с теми, кто считал себя врагом престола, была характерна ситуация, когда государь задавал вопрос: что он лично сделал дурного тому или иному подозреваемому? А потом предлагал примириться.

Мемуаристка М.Ф. Каменская записала историю Павла Бестужева, младшего из плеяды братьев-декабристов: "Когда Бестужева привели, то государь спросил его:

— Скажи мне на милость, за что ты-то возненавидел меня? Что я мог тебе такое сделать, что ты, почти мальчик, с сумасбродами вместе восстаешь против меня. Ведь ты распускаешь про меня разные небылицы… Опомнись! Ведь ты губишь себя! Мне жаль твоей молодости… Дай мне только честное благородное слово, что ты исправишься…

— Не могу, государь! — ответил сумрачно молодой человек. — Я убежден в том, что говорил одну только правду…

— В таком случае мне и разговаривать с тобой не о чем. Поезжай проветрись на Кавказ".

Во время первой встречи с Пушкиным император спрашивал и его. А тот долго думал, прежде чем дать слово. Именем героя рассказа автор как бы расписывался под обещанием "исправиться".

В финале сказано: "Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость".

Однако в истории "Уединенного домика…" далеко не все однозначно. Ведь она была рассказана поэтом устно. Ее записал и опубликовал другой литератор. Поступая так, Пушкин как бы давал слово измениться, но не сам, а через посредника. От такого обещания легко отпереться.

Последняя фраза: "Откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?" — очень пушкинская. Ею поэт наперед позволял себе оступиться. Он и и был благодарен, что спасся "особенною милостью Николы Чудотворца", но… "черти" продолжали вмешиваться…

"АТЕИСТ"

Была ли у императора уверенность в том, что его жест оценят? Во время следствия над декабристами он уже сталкивался с ситуациями, когда вещи, естественные для верующего человека, вызывали у неверующих только смех и ответное ожесточение.

Первым, кто открыл Николаю глаза на сокровенную суть слова "атеист", был, наверное, И.Д. Якушкин. Во время допроса выведенный из терпения император бросил: "Мы уже в другой раз ловим вас на лжи! Пусть вы не уважаете нас, но не можете не понимать, что скоро предстанете перед судом более высоким. И тогда Бог спросит: почему вы, дворянин, говорили неправду своему государю?"

Ответ был как ведро холодной воды: "Ваше величество, я атеист". Николай не совсем понял, что ему сказали. Потом прозрел. Если не веришь в Бога, значит, можно лгать, устраивать заговоры, предлагать "обе руки для убийства августейшей фамилии".

В гневе император не выбирал выражений, и минутами говорил такое, отчего у приближенных краснели уши. Павловская бешеная кровь толчками пульсировала у него в жилах. Те же вспышки ярости, те же порывы великодушия. Хорошо, что с Пушкиным он старался держаться ровно. А вот Бенкендорф видел его величество всяким. Что случилось бы, поговори государь с поэтом сразу по прочтении "Гаврилиады"?

Раскаяние Александр Сергеевич обнаружил уже на Кавказе, где, казалось, и старые друзья, и сосланные декабристы… Круг людей, способных вернуть его к ощущениям юности. Тем не менее даже упоминания о поэме приводили поэта в трепет. М.В. Юзефович вспоминал: "Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного повесы. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств… Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок; Пушкин вспыхнул, на лице его

выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтоб взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости… Он был уже глубоко верующим человеком".

К встрече с одесским приятелем В.И. Туманским в 1830 г. относил этот эпизод профессор Петербургского университета А.В. Никитенко. По его словам, Пушкин обнял старого приятеля А.С. Норова, на что Туманский язвительно заметил: "Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму". Речь шла о "Гаврилиаде". "Нет… — сказал Пушкин, — вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, настоящий мой враг".

С.А. Соболевский подтверждал: "Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном упоминании об этой прелестной пакости". Точнее не скажешь. Пакость прельщала.

На Кавказе написан "Рыцарь бедный". Некоторые авторы считают его извинением перед Богородицей:

Возвратясь в свой замок дальний.
Жил он строго заключен.
Все влюбленный, все печальный.
Без причастья умер он…

Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

"Без причастья"? Думал ли Пушкин, что грех неотпустим? Или, действительно, имел в виду рыцарей-тамплиеров, которым даже на смертном одре запрещалось говорить о том, чему они стали свидетелями в ордене?

Намеренно сниженные фрагменты стихотворения — "не путем-де волочился он за матушкой Христа" — не позволяют полностью согласиться с мнением об извинении.

Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни Святому Духу ввек
Не случалось паладину,
Странный был он человек.

Так что с "искренне верующим", пожалуй, стоит повременить.

На собственный день рождения 26 мая 1828 г. Пушкин подарил себе неутешительные стихи:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал…

Считается, что Е.М. Хитрово передала эти стихи в 1830 г. митрополиту Филарету (Дроздову), который ответил "переиначиванием":

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал…

Поэту хотелось "взять назад некоторые стихотворения, написанные… в первой легкомысленной молодости". На лице при упоминании "Гаврилиады" выражалась боль. Сжегший поэму Норов оставался другом, а те, кто распространял "прелестную пакость", — врагами.

Кем был государь? Удерживающим.

Принято считать, что сначала человек кается, а потом получает прощение. В истории с "Гаврилиадой" произошло обратное. Стоит задуматься: было бы возможно раскаяние, если бы прощение не состоялось?

"ЧЕТА МОЯ"

Существует еще одно мнение, которое трудно обойти вниманием. Якобы в "Гаврилиаде" поэт намекал на рождение великого князя Александра Николаевича (будущего Александра II) не от цесаревича Николая. Виновником торжества называют Александра I. Строчку из письма Пушкина Вяземскому: "До правительства наконец дошла Гаврилиада" — трактуют в современном смысле: "дошла", то есть догадались, поняли.

Цесаревич Александр Николаевич в гусарском мундире. Художник К.К. Гампельн

Тот факт, что слово в XIX в. не имело подобного значения, не считается весомым. Ведь в литературе около Пушкина порождается легенд едва ли не больше, чем породил о себе сам поэт. Утверждение, будто Пушкин "хорошо знал" внутренние перипетии дворцовой жизни, принимается на веру. Между тем что и откуда мог знать юноша в 1817 г., когда писался текст?

С царской семьей он тогда близок не был. Городские сплетни проникали в лицейский круг легко. Лицеисты, в отличие от учеников других привилегированных закрытых заведений, где насаждался культ августейшей фамилии, напротив, гордились духом вольности, выражавшимся, помимо прочего, и в

пренебрежительном отношении к членам правящей династии. Кроме того, юноши жили в Царском Селе, в непосредственной близости от "чертогов", и считалось, что по этой причине они видят внутреннюю жизнь двора буквально через забор.

В воображаемом разговоре с Александром I, написанном опальным поэтом в Михайловском в 1825 г., император упрекал Пушкина: "…не щадя моих ближних, вы не уважили правду и личную честь даже в царе".

Император говорил об оде "Вольность", где описано убийство Павла I. Но только ли о ней?

Что было основанием для неблагоприятных слухов о великокняжеской чете? В воспоминаниях Александра Федоровна описала эпизод, который мог послужить пищей для разговоров.

Принцесса забеременела почти сразу. Как-то во время литургии в Павловске ей сделалось дурно. Николай вскинул жену на руки и вынес на воздух. На том месте, где она упала, остались лепестки белого шиповника от приколотого к поясу букета. Все находили, что это очень романтично. Если учесть, что ни у первого, ни у второго брата законных детей не было, то будущий ребенок третьего вызывал семейное благоговение. Едва ли не религиозный трепет. На четвертом месяце у Шарлотты начали отекать ноги. Однажды на веранду, где она отдыхала, вошел государь, чтобы пожелать невестке доброго утра. Молодая женщина дремала, и Александр поцеловал ее опухшую щиколотку. У великой княгини не хватило скрытности промолчать о произошедшем. Уже к вечеру из куртуазной выходки императора придворные сплетники раздули целый скандал.

Кто бы мог подумать, что травлю начнет тишайшая супруга императора Елизавета, которой, казалось, годами дела нет до шалостей мужа. На маскараде она предстала в белом подвенечном платье с привязанной к животу подушкой. Тем самым императрица бросала вызов супругу, якобы обесчестившему невестку.

Великокняжеской чете пришлось пережить скандал молча. А когда сын родился, Николай от счастья рыдал громче младенца.

Шептались, что именно из-за ребенка император Александр I и сделал брата наследником. Рано-де или поздно престол все равно перейдет к *его* отпрыску. Подобные слухи были возможны, пока малыш не подрос и не обнаружил поразительного сходства с Николаем I. Те же глаза. Та же верхняя часть лица. Фигура. Их не было у покойного Ангела.

Но в 1817 г. можно было и подобрать сплетню. В "Руслане и Людмиле" — свадебной поэме — Черномор уносит дочь киевского

князя прямо с брачного ложа:

Вы слышите ль влюбленный шепот
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости?.. Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали… Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане…
И замерла душа в Руслане.

Есть и намек на длинное сватовство великого князя, который ездил к своей невесте в Берлин четыре года.

Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить… о друзья,
Конечно, лучше б умер я!

Скорее стоило бы подозревать в непристойных аналогиях "Руслана и Людмилу", тем более что именно на страницах этой поэмы начертан портрет великого князя Николая.

В "Гаврилиаде", помимо прочих намеков, содержалось описание Адама и Евы, которые предались наслаждению, забыв о запрете. Чтобы остаться вдвоем, они скрывались в "глухом леске", а "юная земля любовников цветами покрывала". В это же время молодая великокняжеская чета предпочитала подальше от лишних глаз уезжать даже из загородных дворцов в лес.

Там быстро их блуждали взгляды, руки…
Меж милых ног супруги молодой,
Заботливый, неловкий и немой.
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев, душой терялся в нем…
И, не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва-едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,
В слезах любви, в бесчувствии лежала…

Для человека того времени подобное дерзко было даже воображать. Если в "Гаврилиаде" действительно скрыт намек на царскую семью, то он становится недостающим звеном истории Руслана и Людмилы. Спасенная княжна, любя своего верного витязя, все-таки понесла от Черномора.

Предположим, что соблазнительный слух был справедлив. Тогда окажется, что прощение Пушкина за "Гаврилиаду" стало для императора по-человечески еще труднее, чем принято считать.

Ведь Николай I любил и уважал жену. Берег ее честь. За две непочтительные строчки о ней забрил Т.Г. Шевченко в солдаты. Правда, между Пушкиным и Шевченко имелась громадная разница. Есть мера таланта и мера рождения. Но после случившегося даже прощенному поэту ничего не оставалось, как бежать подальше от царских глаз.

В Арзрум! В Арзрум! "Покоя сердце просит".

БЕДНАЯ ГРАФИНЯ

Тем временем в Одессе дела складывались совсем не так, как хотелось бы Бенкендорфу. В качестве командующей) армией на Юге для него предпочтительнее было бы иметь своего человека.

Пока стояли под Варной, думалось: П.Х. Витгенштейн уже пожилой человек, закончится кампания, он подаст в отставку. Кто его заменит? Единственная серьезная военная удача за Воронцовым. Уже и в войсках судили-рядили, что армию возглавит граф Михаил Семенович. Уже государь научился тому доверять. Что немало. А сам "брат Михайла" посматривал на себя в зеркало с немалым довольством. Год осаждали, взять не могли. Приехал он, и через месяц — на тарелочке.

Для Бенкендорфа не так-то просто было замять донос на генерал-губернатора. Если бы тогда неприятели преуспели, не император бы лично совал голову в колодцы Воронцова, а разбирали бы графа по косточкам на заседании Государственного совета. И косточек бы не оставили.

Конечно, он служит честно. Но скольким честным насадили головы на чернильные пики?

Если бы не смерть брата, выбившая шефа жандармов из седла, он успел бы проконтролировать интригу. Тем более что направлена она была не столько против Воронцова, сколько против него самого. Ему не хотели дать укрепиться. Но били не

прямо — знали, что он, благодаря доверию императора, отразит удар, — а по "брату Михайле" как возможному командующему Дунайской армией.

Против Воронцова действовали жестоко, выбрав в качестве мишени супругу генерал-губернатора. По опыту старого, еще пушкинского скандала знали, что в вопросе личной чести Михаил Семенович особенно уязвим. Поэтому графа постарались опозорить.

Во время пребывания императрицы Александры Федоровны в Одессе графиня часто посещала дачу Рено, где остановилась августейшая гостья. Последняя была окружена таким почтением, какого хотела бы для себя сама хозяйка. Именно почтения. Даже не любви. Ведь каждый, кто смотрел на нее, вспоминал не то, что она супруга генерал-губернатора, мать семейства, а что ее четыре года назад воспел Пушкин. Повторяли про себя "Погасло дневное светило", "Талисман" и воображали, какова-то она без блеска, в "томном сладострастии".

Нет, никогда средь бурных дней…
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых цирцей
И перси полные топленьем.

Это унижало. И не только саму графиню. Она замечала, что муж чувствует чужие, оскорбительные взгляды на нее. Каково сознавать, что окружающие видят твою жену голой? Ему было больно. Ложная репутация супруги роняла и его в грязь. Воронцов бесился.

Особенно ясно это стало с приездом небольшого двора, сопровождавшего императрицу Александру Федоровну. Конечно, всех разместили наилучшим образом. Хозяйка не ударила в грязь лицом. А гостья выказала самую пленительную благодарность, но… Елизавета Ксаверьевна знала, что стоит ей выйти от государыни, которую она, кстати, посещала каждый день, и с десяток дамских языков напомнят доброй Шарлотте, с кем она только что говорила, какой тут был скандал…

Обычно ее величество почивала долго. И если генерал-губернаторша успевала к полудню, то всегда бывала вознаграждена милостивой улыбкой. Но осада затягивалась, а графине давно пора было вернуться к матери в Белую Церковь, где жили дети. Там климат суше — никакой возможности для чахотки. У старшей дочери Кати и у младшего сына Мишеньки доктора нашли смертельную болезнь. Двоих Воронцовы уже потеряли. Только Семен и Софи казались здоровыми.

После следствия по делу 14-го кузен Александр Раевский, сын знаменитого генерала, заподозренный тогда в причастности к мятежу, но прощенный, вернулся из столицы и безвылазно поселился у тетки в Белой Церкви, где занялся племянниками. Когда-то он был влюблен в графиню. Несколько раз пытался признаться в том, что чувство живо. Чтобы не рисковать, Елизавета Ксаверьевна попросила мужа отказать кузену от дома. Один из тех шагов, который в отношении настоящего любовника виновная женщина никогда не сделает.

В роковой день двуколка графини двигалась по Приморскому бульвару. Публика уже вышла на променад и раскланивалась с супругой генерал-губернатора. Много новых лиц. Придворные. Жены военных. Целые вереницы иностранных дипломатов. На повороте с бульвара к Екатерининской площади у сквера экипаж графини догнал оклик. Дама с ужасом увидела Александра Раевского, ринувшегося на мостовую, под копыта лошадей. Елизавете Ксаверьевне только потом пришел в голову вопрос: почему здесь? На глазах у целой толпы?

Как рассказывали свидетели, Александр повис на конской узде и прокричал: "Береги наших детей! Береги наших детей!"

Громко. Отчетливо. Выделяя каждое слово.

Вокруг собралась толпа. Ни о какой поездке к императрице и речи быть не могло. Всем хотелось видеть виновницу скандала, узнать друг у друга подробности… История вмиг обросла ужасающими комментариями. Ее сиятельство-де на полгода покидает мужа, чтобы жить с кузеном в имении матери. Все ее дети — от Раевского. А граф молчал, потому что не смел обнаружить свой стыд. Значит, правду говорили и про Пушкина…

Хорошо, что Михаил Семенович этого не слышал. Но мог вообразить. Новость долетела до лагеря под Варной всего за трое суток. Словно ей приделали крылья.

Сказать, что Воронцов был раздавлен? В этот миг он ясно понимал, что командования армией ему не видать. Офицеры не станут слушаться опозоренного человека. Солдаты будут над ним смеяться. Плакало его фельдмаршальство.

Графиня могла быть сто раз не виновата. Как с Пушкиным.

И виновата в главном. Она сделала мужа мишенью для насмешек. У него отняли заслуженные лавры, надломили новый карьерный взлет.

Бенкендорф не верил, что взрыв чувств Александра Раевского должен был непременно прийтись на момент аудиенции, когда ее сиятельство ехала к императрице по людному бульвару.

Было очевидно, что Раевский не сам выбрал время и место для своих позорных откровений. О кандидатурах тайных

покровителей полковника Александр Христофорович догадывался. Нити уходили в Петербург. К министру иностранных дел К.В. Нессельроде и к начальнику Главного штаба И.И. Дибичу который сам метил в командующие. Сей служил на высоких должностях еще при Александре I. Норовил прогнуться под Константина. Что позднее и подтвердил во время Польской кампании.

Так был проигран бой за Дунайскую армию. И опозорена близкая Бенкендорфу семья. Теперь он стоял очень высоко и вел опасные игры. Расплачиваться приходилось судьбами дорогих людей. Это следовало осознать и научиться двигаться еще аккуратнее, чем до сих пор.

ВАРШАВСКИЕ НЕУРЯДИЦЫ

Михаил Семенович снова был поставлен в крайне щекотливое положение: должен стреляться и не может. Раевский ему не ровня. К тому же новый государь дуэлей не одобрял. Пришлось писать формальную жалобу, что тоже унизительно. Кузена Александра сослали в Полтаву, где он в короткое время поглупел настолько, что Пушкин полагал, будто несчастный перенес "воспаление мозга".

Что за неприятные у поэта знакомые! Вяземский, например, не преминул повсюду раструбить о "домашнем стыде" Воронцова. Хотя стоило приглядывать за своей супругой. Поэт "решительно восстает" против того, чтобы добрейшая княгиня Вера Федоровна давала мужу "ключ" к их переписке…

Опять Пушкин!

Шеф жандармов дорого бы дал за то. чтобы поэт на время исчез: с глаз долой, из сердца вон, Так и произошло.

Если Жуковский предполагал, то Бенкендорф делал выговоры, тут же выкидывал их из головы, а "эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь" Пушкина. Нет ни одного письма Александра Сергеевича, кроме собственно ответов главе III отделения, где бы он беспокоился но поводу правительственных придирок.

Уже само "бегство" поэта на Кавказ доказывало, что за ним следили плохо. Если бы каждое действие Пушкина контролировали жандармы, ему бы никогда не удалось выбраться из Петербурга. Однако до этого он ездил в Москву, под водительством Павла Воиновича Нащокина соревновался в ловкости с картежниками, встретил на балу мадемуазель Гончарову, еще не сознававшую своей красоты и только

входившую в моду. Посватался к ней. Получил раздумчивый отказ маменьки, больше похожий на "посмотрим". Вгонял в краску стыда Адама Мицкевича рассказами и тостами о самых сокровенных предметах. И все это на глазах секретного надзора, который ни о чем, собственно, не беспокоился, кроме отправки депеш. Не за руки же поэта хватать!

И вот "под носом у шефа жандармов Пушкин улизнул" из Северной столицы. Правда, "нос" Бенкендорфа, как и он сам, в тот момент находился "далече Северной столицы". 22 апреля 1829 г. он вместе с императором выехал из Петербурга. На сей раз в Варшаву на коронацию. Наконец, государь отважился. После трех лет царствования, после двух выигранных войн…

Обрел уверенность? Несомненно. Однако главная причина шага — крайнее неудовольствие правлением Константина в Царстве Польском. "Одновременно он командовал корпусом, расположенным в Литве и носящим то же название для того, чтобы отличаться от других русских армейских корпусов… — писал Бенкендорф. — Вильно, Гродно, Белосток, Минск, Волынь и Каменец-Подольский [тоже] находились под его командованием… Такова была воля императора Александра. Подобное объединение всего, что было польским, или могло быть польским, а также данная Царству либеральная конституция… все это было наименее удачным решением из возможного. Кроме того, эти решения входили в прямое противоречие с тем, что сделала императрица Екатерина".

Из приведенных строк видно, что Бенкендорф разделял взгляд, характерный для тогдашних русских военных и государственных деятелей. Его кратко, но сочно высказал непосредственно Александру I дипломат-корсиканец Поццо ди Борго: "В польском войске питаем мы змия на груди, который будет кусать России".

"Все вышесказанное давало полякам серьезную надежду на восстановление государственности и тем самым затрагивало и оскорбляло Россию", поскольку под эгидой Варшавы должны были соединиться потерянные прежде провинции, которые теперь входили в состав империи. Константин же "был женат на полячке, был влюблен в войска, которыми командовал, и протежировал замыслам поляков".

Император мог сколько угодно "предвидеть последствия подобного положения дел", но как было идти на открытую ссору с братом, уступившим ему престол? И своими руками разрушать то, что создано "Освободителем" и "Благодетелем Польши" Александром I?

После окончания войны с Наполеоном, на стороне которого

воевали и поляки, император-победитель не отдал край на разграбление, а, напротив, воссоздал королевство и туманно обещал вернуть отторгнутые земли. Он считал разделы Польши, предпринятые при Екатерине II, несправедливыми и позорными. Был уверен, что Россия должна платить — в прямом смысле слова — полякам за понесенные потери.

Результат этих платежей Николай I и Бенкендорф воочию увидели на границе Царства у городка Тыкоцын. "После войны… у меня не было случая побывать в этих местах, — писал Александр Христофорович. — Тем не менее я полагал, что смогу узнать их, как узнают места, которые изъезжены верхом на лошади вдоль и поперек". Но после Белостока, к его удивлению, "вместо глубокого песка и болот" коляска следовала "по прекрасной мощеной дороге", "шаткий мост и грязная плотина исчезли, маленький город приобрел чистый и ухоженный вид. Все вокруг преобразилось, самый бедный, грязный и промышленно отсталый край, как по волшебству, стал цивилизованной, богатой и ухоженной страной… Самая неискоренимая неблагодарность молодых польских патриотов была принуждена отступить перед очевидностью".

Но "отеческое" отношение Александра I к Польше не могло не вызывать зависть у русских подданных. Дефицит польского бюджета составлял один миллион злотых в год и покрывался из русской казны.

Еще в 1816 г. молодые генералы-победители недоумевали, почему бывшие союзники Наполеона получили конституцию, а России — ладаном по губам? Говорили, что император не любил родинку… В бытность свою начальником штаба Гвардейского корпуса Бенкендорф много раз слушал разговоры младших офицеров: в польских частях-де платят больше. После каждого смотра польским рядовым по серебряному рублю, нашим — но медному. Предусмотрено награждение для инвалидов, хотя искалечены они, конечно, не при защите России. Государь хочет уехать в Польшу со всей семьей и жить там конституционным монархом, а нас оставить внутренним неурядицам.

Когда-то подобные мысли казались Александру Христофоровичу бредовыми. Но с течением лет он им почти поверил. Покойный Ангел имел все дарования, чтобы править народом просвещенным, ценящим "дары свободы", а правил… нами.

"Он начал царствовать в 24 года в окружении льстецов, женщин и интриг, но у него хватил сил на то, чтобы всегда оставаться человечным и благожелательным, — писал Бенкендорф об Александре I. — Вначале он был привержен

либеральным и конституционным идеям, и, направляя в них принципы управления, он искал изменений, полагая, что находил улучшения… Он искал славы и оваций либеральной Европы. Он даровал конституции Польше и завоеванной Финляндии, раздражая свой собственный народ и сея зерна оппозиции и недовольства у своих подданных. Затем он вернулся к принципам деспотизма, гипертрофированной религиозности, сектантским взглядам, к мистицизму. Недовольный настоящим, неуверенный в будущем, строгий к самому себе, он… умер в скорби о потерянных иллюзиях и в предвкушении будущих бедствий".

Такую оценку трудно назвать восторженной. Она совпадала со словами Ивана Якушкина, сказанными на следствии: "Император Александр слыл в Европе корифеем либерализма. А дома мы что видели? Деспотизм жестокий, хуже — бессмысленный".

Николай I, просматривавший воспоминания друга после его смерти, ничего в них не поправил. Напротив, назвал мемуары "довольно точным изображением" своего царствования. Значит, косвенным образом был согласен со словами о покойном брате.

Теперь расхлебывать кашу, заваренную в Польше старшими братьями, предстояло Николаю I. Для начала решено было короноваться, чтобы уже потом, как законный король… Последнее "не доставило никакого удовольствия русским", которые боялись, как бы их царь не пошел по стопам покойного Ангела.

"КОНСТАНТИН-УРОД"

В шаткие дни междуцарствия по Петербургу ходила песенка:

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин-урод.

Теперь она не к месту крутилась в голове у шефа жандармов. Ведь ехал не Константин и не "к нам". Все происходило наоборот. Однако предстоящая встреча не радовала.

Брат из Варшавы три года повторял императору, что тот должен чувствовать себя лишь наместником и продолжателем дел почившего Ангела. Ему Константину так, без сомнения, было бы удобнее. Цесаревичем его назначил отец, и от этого титула он не собирался отказываться. Наместником Польши — Александр I.

Поэтому какое-либо вмешательство неуместно. Сам государь не раз говорил, что ощущает себя только "заместителем". Что настоящий царь — в Варшаве.

Слова, слова… Но зная честность императора… А также неуверенность первых лет… Им стоит верить. Однако время шло. Обстоятельства — внешние и внутренние — менялись. Привычка принимать решения въедалась в кровь и плоть. Можно было бы сказать, что Николай I входил во вкус. Но "династический принцип был крепко влит" в великих князей, поэтому государь, сколько мог, старался не беспокоить брата в его вотчине.

Однако рано или поздно короноваться бы пришлось.

Особенно неприятно государя поразил тот факт, что цесаревич Константин не послал на театр военных действий против турок подчиненную ему польскую армию. Сначала согласился, а потом поворотил сани: мол, "его честь будет задета, если на войну отправятся войска, которые он формировал", а он сам останется дома. Намек был понятен: великий князь рассматривал польскую армию как свою собственную и не хотел, чтобы она привыкала подчиняться приказам брата. Этот отказ оскорбил "благородное сердце императора". Стало очевидно, что Николай терял Польшу. Ему там не повиновались.

Следовало явить твердость. Во имя целостности империи забыть про "династический принцип". Бенкендорф знал об этом из первых уст, потому что во время путешествия в одной карете слушал рассуждения и негодование государя. Ему уже казалось, что дорога — естественное состояние его жизни. Только раньше он, закусив ус, скакал *для* одного императора. Теперь *вместе* с другим.

Сами государи являли редкое несходство в облике и характерах. Ничего братского. От одного корня. Только не чуждый августейшей семьи человек имел шанс заметить: есть общее, неявное, глубоко спрятанное, чего стыдятся и не хотят показывать.

За прошедшие три года отношение Николая I к покойному Ангелу стало жестче. Нетерпимее. Навалились не решенные братом дела. Еще хуже были дела решенные… либо под влиянием "либеральных идей", либо "деспотизма". Две крайности! Идеалом могла считаться сильная власть, опирающаяся на закон. Недаром он поручил М.М. Сперанскому кодификацию, а III отделению борьбу со "злоупотреблениями". Повседневность клонила то в одну, то в другую сторону. Чтобы двигаться по избранному маршруту требовалась сильная воля.

С годами в лице императора стала проглядывать суровость — "неподдельная строгость", особенно очевидная в минуты покоя,

когда оно застывало маской из еще влажного, несхватившегося гипса. Государь отворачивался к дороге, думал или просто дремал. А Бенкендорф быстро взглядывал на него и видел, как прежде мягкое и растерянное становится твердым, отточенным, непреклонным.

Особенно при чужих. С ним-то самим Николай позволял себе расслабляться. Любил и подурачиться, и пошутить, и смеялся так, что при его росте падал со стула. Рисовал карикатуры и даже под настроение весьма соблазнительные картинки. Обожал фарсы и все, вывернутое наизнанку. Потешное. Издевательское. Хорошо, что сам первый спохватывался и всегда извинялся. В противном случае был бы тяжел.

Но что будет, если подданные увидят своего государя *таким*? Потеряют уважение? Перестанут слушаться? И в конце концов убьют? Разве прежде венценосных особ лишали жизни только по наущению злых жен? Нет, монархов убивают из страха. Парализующего страха перед их беспомощностью.

Николай как-то сам собой, без дополнительных пояснений, проникся этим знанием. Почувствовал звериную повадку подданных: покажет слабину — порвут. Как писал Державин: "Чрез меру кроткий царь царем быть неспособен". Люди привыкли строиться под сильного. Их можно понять. Каждые 20 лет война. Иногда чаще. Проиграл — беда. Страны нет. Ее жителей тоже. А потому они должны ощущать в нем стену. Нерушимую преграду. Между собой и кровавым хаосом.

Такой преградой не были ни Петр III, ни даже несчастный батюшка Павел I. Был ли добрый Ангел? Может статься. Но и у него иссякли силы. А вот дорогой Константин, несмотря на хмурые брови и вечный окрик, — нет. Ибо ему не по зубам. Что события междуцарствия отчетливо показали. Боится смерти. Хочет, чтобы его оставили в покое.

Не получится.

"ТЯГОСТНЫЕ ЧУВСТВА"

При встрече в Варшаве, когда ехали через мост, лошадь великого князя заартачилась и не пошла дальше. Константину пришлось спешиться. Э го приняли за знак судьбы. Два католических кардинала, сидевшие рядом с Александром Христофоровичем во время торжественного обеда, сказали ему о государе: "Если бы он захотел управлять нами сам так, как он это делает в России, то мы бы с удовольствием отдали бы ему конституционную хартию со всеми ее преимуществами".

В том-то и беда, что конституция при Константине нарушалась поминутно и действовала только тогда, когда на ее основании старший брат-цесаревич хотел в чем-то отказать младшему-императору. Казалось, великий князь "робел в присутствии" своего сюзерена. Но на самом деле "пребывание государя стесняло" его. "На протяжении долгих лет он привык подчиняться только самому себе, вошел в обыкновение приказывать, как начальник. Теперь, когда он был вынужден как минимум подавать пример подчинения, он опасался преследующего взгляда императора, зная о том, что существует недовольство теми решениями, которые он позволял себе принимать".

Первая — знаменательная — стычка между братьями произошла по поводу Литовского корпуса. Константин хотел, чтобы войска, как прежде, комплектовались из польских выходцев. Это привязывало корпус к Царству. Император, напротив, настаивал, чтобы места занимали уроженцы центральных русских губерний. Такое положение притягивало крупную военную единицу к России и обеспечивало ее преданность. Неоднократные ходатайства великого князя были отклонены. Константин надулся. Но нынешний император не был Ангелом. Он мог позволить себе и не нравиться. Говорил прямо, чего хочет, и требовал исполнения.

По его приказу из Петербурга доставили императорскую корону, "чтобы показать, что для обеих стран есть только" один венец.

Тем не менее во время коронации русские подданные находились не в своей тарелке. "Мы же испытывали там тягостные чувства, — писал Бенкендорф. — Я не мог избавиться от болезненного и даже унизительного ощущения, которое предсказывало, что император Всея Руси выказывает слишком большое доверие и оказывает слишком большую честь этой неблагодарной и воинственной нации".

Уж слишком всерьез Николай I воспринял церемонию. "Вернувшись в свои апартаменты, император послал за мной, — вспоминал шеф жандармов. — Видя, что я взволнован, он не скрыл от меня, насколько его рыцарское сердце переполнено чувствами". В тот миг Николай I верил, что исполнение клятвы возможно. Хотя давно знал правду.

Великий князь Константин Павлович

В детстве у него была няня-англичанка мисс Евгения Лайон. Николай ее обожал. Когда она следовала в Россию и 1795 г., в Польше началось восстание, ее захватили вместе с русскими дамами и шесть месяцев держали в крепости, пока А.В. Суворов не взял город.

Нынешнему государю не было и пяти. Он играл на полу в детской, а няня вязала в уголке, перебрасываясь с горничной ничего не значащими фразами. Речь коснулась Польши. И бонна порассказала глупенькой девочке, какие такие бывают галантные ляхи. Женщинам и в голову не пришло, что ребенок понимает больше, чем кажется.

"Что ты строишь, Ники?" — ласково спросила мисс Лайон, когда горничная удалилась. "Дачу для тебя". — Великий князь нагораживал стулья и натягивал на них сверху покрывала. "А зачем пушки?" — удивилась та, трогая носком туфельки игрушечную мортиру. "Чтобы поляки тебя не украли".

Находясь в Варшаве, Николай всегда испытывал напряжение. Каким бы веселым и солнечным ни был город, как бы беспечны ни казались обитатели, он чувствовал угрозу, будто перед ним

картонная декорация, за которой таится неизреченный ужас. Государь бы никогда не согласился здесь жить. Ему претило притворство, а в Польше на каждом шагу приходилось улыбаться неприятным людям. Брат Александр прежде чувствовал себя как рыба в воде, его ремесло состояло в том, чтобы обольщать и очаровывать. А Николай предпочитал честный поединок. Друг так друг. Враг так враг. Горько потерпеть поражение. Но уж если победа на его стороне, повинуйтесь. Ногу на грудь и — удар милосердия.

И в этот раз, во время коронации, государь сам как-то почувствовал фальшь. Закусил губу. Стал молчалив. Пока ехали из Польши, хмурился. Наконец бросил: "Я их, по крайней мере, не обманываю".

Все следовало менять и надеяться, что нарыв не прорвется раньше времени.

Глава 7
"ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ"

Колеса снова наматывали на себя дорогу, а домом и не пахло.

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…

Так и ездили. С 1828 г. почти не переставая.

Опрокидывание экипажей, и "непроворные инвалиды" случались с завидной регулярностью. Однажды государь сломал ключицу. А в другой раз падение было столь резким, что оба спутника простились с жизнью и в последний миг "хором" подумали об одном и том же: так проходит слава земная.

Год назад, на Дунае, въехали в лес. Эскорт отстал. Кругом темно. Разбойники есть ли, нет ли — не поймешь. Бенкендорф признавался, что за всю жизнь не испытывал такого страха. Охрана императора на нем. А у него в руках ничего, кроме сабли… Едва за опушкой развиднелось, на фоне черного неба засветились огни лагеря. Чьего — неясно.

Государь продолжал что-то обсуждать, а его спутник притих, отвечал на реплики невпопад. Руку держал на эфесе. "Наши, — бросил император. — Костры на равном расстоянии". Действительно, регулярный, "римский" порядок. Вскоре сахарными головами забелели палатки, тоже разбитые через строгие интервалы одна от другой. Оплошал. Даже не стал присматриваться…

Зато в других случаях дорожный опыт Александра Христофоровича брал верх над привычной, дворцовой щепетильностью государя. Он не понимал, зачем в путь непременно жарят гусей и уток. Не знал, как поступать с жирными руками. Почему в шаньгу из гречневой муки запекают яйцо в скорлупе.

Проще было показать. Александр Христофорович разламывал пирожок, нарочито долго тер ноздреватым черным хлебом руки. Потом вынимал яйцо, лупил, ел. Разрывал напополам хрустящую от жареной корочки курицу. Подавал половину государю, который сам вдумчиво катал между пальцами ржаное тесто. Завершив трапезу, снова стирал жир с ладоней хлебным мякишем

— и руки опять чистые.

Иногда утром в дороге генерал позволял императору поспать: молодые спят крепко. А сам работал. Как-то на станции набились просители. Губернатор, боясь обременять царственного гостя, их прогнал. "Напрасно, — остановил Александр Христофорович. Государь делами не скучает". Велел всем остаться. Выслушал, чего хотят. Заранее предупредил, какое будет решение. Но, если не согласны, могут сами проверить.

"ПУШКИН-КУКУШКИН"

На дороге же настигали сообщение о Пушкине. Опять не слава Богу! Сбежал из столицы? Может, оно и к лучшему? Бенкендорф послал гневное, но вежливое письмо к обер-полицмейстеру. Получил формальный ответ. А больше-то что? Погуляет, вернется.

Недаром генерал А.Н. Мордвинов — старый, опытный служака — писал, что Пушкин опасен, "как неочищенное перо". Поездка его устроена картежниками, у которых поэт в клещах. Но не по бедности, а по распутству жизни. Каждую ночь банк, шампанское. "Так в ненастные дни занимались они делом". Бывало по молодости и с самим Бенкендорфом. Он ведь только что с медведями не танцевал. Актрис увозить? Пожалуйста — увез аж из Парижа. Самую великую драматическую диву Франции. Больно вспомнить. Вся жизнь напополам. А у Пушкина? Завел невесту. Едет обирать молодых офицеров в карты. Шалопай!

На такие донесения собственных чиновников Александр Христофорович мог только прыскать в платок. Ничего, кроме забавного, они в себе не заключали. "Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно! — писал Мордвинов еще в марте. — Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры… Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют — и конец".

Позднее сын Вяземского Павел подтверждал мнение Мордвинова: "Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена действительно игроками… в простом расчете, что они… встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными его спутниками".

Сие лишь подозрения. Но подозрения правдоподобные.

Шулера могли "угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчетно деньги на его путевые издержки".

Впрочем, все это — не дело правительства. Ведь высший надзор не нанялся стеречь ни карман поэта, ни карманы тех несчастных, которые сядут с заезжей знаменитостью за зеленые столы. А поскольку Пушкин "из тех людей, у которых семь пятниц на неделе", то ждали его скорого возвращения в Москву или Петербург.

Однако Пушкин поехал далее. Всю дорогу приходили докладные о его выходках. Надо признать, весьма смешные. Вот изрисовал стену в ночлежной избе картинками, а инвалид стер, ворча: "Может, Пушкин, может, Кукушкин, а нам отвечать!" Вот чуть не соблазнил калмычку и, если бы она не ударила его балалайкой, сорвал бы у степной Цирцеи с уст поцелуй с полынным привкусом. Вот в красной рубахе, с длинными ногтями, ходил пугать осетин в деревне и требовал, чтобы им сказали, будто он черт… Те начали швыряться камнями. Дикие люди, простодушные.

А вот то, что заехал к Ермолову, — уже не столь потешно. К Алексею Петровичу все ездили прикладываться, как к Иверской, перед дорогой. Но не надежен. Мало ли что дурное скажет о нынешнем правительстве. Из Москвы доносят, что бывший "проконсул" Кавказа с трудом переносит свое бездействие. Кто виноват? Таланта много. Амбиций тоже.

Зачем он Пушкину? Опальный полководец романтичен. А Паскевич, пользующийся полным доверием и одерживающий вполне официальные победы, — скучен. Романтик будет искать драмы. Коллизии судеб. Хотя вся драма в склочном характере и замашках солдатского императора.

В Кавказском корпусе при грозном Ермул-паше зрел не то чтобы заговор — так, расплодилось гнездо недовольных. Впрочем, кто тогда ходил довольным? Об этом многое узналось на следствии. Вряд ли Алексей Петрович был в чем-то серьезно замешан. Просто покрывал роптунов и показывал свое полное благоволение именно этим людям.

Возьми они завтра власть, и без него бы не обошлись. Как и без многих других. Революционные генералы. Мигом бы сняли царские эполеты — "наплечные кандалы", как их называет Денис Давыдов, — и нацепили бы трехцветные кокарды. Тот факт, что Пушкин решил подружиться именно с Ермоловым, доверия к поэту не прибавлял.

По дороге путешественник шалил, как дитя, вырвавшееся из-под опеки родителей. Садился на казачьего коня и с пикой

наперевес преследовал шайки горцев, норовившие нападать на караваны. Называл молоденького офицерика, главу партии, "отец-командир", чем вгонял юношу в краску смущения.

Наконец, в Тифлисе подпал под начальственный взгляд Паскевича, сколь попечительный, столь и придирчивый. Однако, возможно, в столице Грузии командующий поэта не видел, какие бы красочные истории об этом ни рассказывали: Иван Федорович все это время находился на театре военных действий. А Пушкин в мирном городе еще задержался. Игроки? Об этом ничего не известно.

Зато хорошо запомнилось другое. В сердце Грузии хлебосольно и весело поэта чествовала вся тамошняя читающая публика — офицеры, местные чиновники, барышни. Кроме них, явилась горсточка высшего генералитета — "не потому чтобы прочла", а из оппозиции к Паскевичу, заодно и ко всему, что из Петербурга. В обиде за Ермолова любой гонимый мил.

Местная аристократия тоже носила поэта на руках, но совсем из других видов. В Грузии, оказывается, певец, отмеченный рукой Небес, — не то что у нас — чуть юродивый, чуть святой, но в общем добрый малый. На Кавказе поэты вызывают священный трепет и держатся важнее турецких улемов. Ученые, да и только. Правда, они не прыгают на одной ножке, не играют с чумазыми мальчишками в чехарду, не примеряют в лавке все, какие есть, чуреки и не едят арбузы прямо на улице, прислонившись к стене дома, сплевывая семечки под ноги и давясь красным липким соком.

Нет, ничего этого благословенные поэты со времен царицы Тамары не делали и делать не собирались. Но раз у русских так принято…

Посему каждый день для Пушкина накрывался то обед, то ужин, то завтрак на траве десятками почитателей. Наконец, все они соединились, чтобы, арендовав живописный сельский виноградник на крутом берегу Куры, устроить нечто феерическое. В "европейско-азиатском вкусе" со свечами в листве, музыкой, баядерками, шампанским, бродячими поэтами, которые читали свои стихи на десятке местных диалектов. Между ними вклинивались чтецы из поклонников со стихами самого Пушкина.

Напившись и откинувшись на руки друзей, поэт восклицал: "Я никогда в жизни не был так счастлив, как в этот день".

ИНКОГНИТО Б БЕРЛИНЕ

Все ожидали, что после коронации из Польши государь

вернется в Петербург. А его супруга переедет границу Пруссии, чтобы встретиться с родней. Так думали и европейские дворы.

Их неведение о планах императора было на руку. Ибо Николай I умел планы менять.

Международные обстоятельства между тем складывались самым неблагоприятным для России образом: она побеждала. А после разгрома Наполеона наступила эпоха, когда в борьбу за гегемонию на континенте уверенно вступила Англия. Значит, горе победи гелям. Если они, конечно, не в красных британских мундирах.

Даже в Петербурге общественное мнение открыто говорило об английских агентах. В отчете III отделения за 1828 г. сказано: "Австрия и Англия ведут здесь (в столице. — О. *Е.)* систематический шпионаж… их происки направлены не только на то, чтобы добывать нужные сведения о политических планах нашего кабинета, но и чтобы воздействовать на него путем ложных конфиденциальных сообщений… В обществе говорят, что… Англия тесно связана с Австрией общими интересами, а именно чтобы препятствовать росту России и ослаблять ее значение о Европе. Говорят, что, если бы русским удалось перейти Балканы и двинуться на Адрианополь, Австрия в согласии с Англией объявила бы России войну, постаралась бы поднять Персию и Швецию".

Все это были только разговоры. Но разговоры весьма определенные. Уже знакомый нам британский агент капитан Джеймс Александер описал случай, когда к нему на Невском подошла полька-модистка и показала парижскую газету. Там было написано, будто Англия посылает против России две эскадры. В Черное и в Балтийское моря. Бомбардировать Севастополь и Петербург. "Такую взбучку русские нескоро забудут", — заявила собеседница. Сколько бы Александер ни опровергал слух, модистка оставалась при своем мнении, повторяя: "Но ведь вы же назначены господином шпионом".

В Севастополе Александеру довелось общаться с командой британского фрегата "Блонд", в разгар военных действий совершившего учебное плавание из Константинополя через Черное море. Слухи, возникшие по поводу этого события, весьма красноречивы: утверждали, что "началась война с Англией и фрегат предшествует остальному флоту", "упрекали военные власти за то, что они позволили пройти английскому кораблю мимо батарей".

Александера арестовали, но за недостатком улик отпустили. Однако от истории с "Блондом" остался неприятный осадок. В Петербурге прекрасно поняли, на что намекают вчерашние

союзники: английское судно может дойти от Босфора до Крыма за сутки с небольшим.

Положение было сложным. Воюя на поле боя с Турцией, Петербург сталкивался с солидарными дипломатическими усилиями Вены, Лондона, Парижа и даже Берлина.

"Всегда ревниво относившиеся к России европейские державы, — писал Бенкендорф, — со страхом взирали на разгоравшуюся против Турции войну, в которой они уже предвидели ее неизбежное поражение и усиление мощи нашей империи. В ревнивых глазах правительств наш молодой государь, увлеченный дорогами побед, нарушал всю систему европейского равновесия"

Петербургу уже показали, что, несмотря на все его желание не ввязываться в конфликт при неясных внутренних обстоятельствах, войну легко устроить руками "диких племен" на Востоке. Потом, давая субсидии Турции, затягивать сколь угодно долго. И наконец, закончить в удобный для не втянутых в противостояние сторон, предложив свою посредническую помощь. Иными словами, судьбой России владеет не она сама: для нее могут создать, продолжать и прекратить войну по желанию извне. При этом Петербург будут ругать и наказывать, как если бы он сам нарушил договоры, отказывался мириться и стремился уничтожить соседнюю страну.

"Император был спокоен и силен сознанием своей правоты и совершенно не желал упускать победу, — сообщал Бенкендорф. — Он отклонил добрые услуги иностранной дипломатии и приготовился ко второй кампании".

В этот момент возникла угроза повторного вступления в войну Персии. "Наш посланник… господин Грибоедов, человек умный, но, возможно, несколько неосторожный, настроил про-тив себя население Тегерана… которое только и ждало случая, чтобы восстать". Практически вся русская миссия оказалась вырезана. "Нанесенное оскорбление было слишком сильным и грозило новым разрывом отношений".

Россия должна была сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить за спиной у Паскевича еще одного противника. Этим, а вовсе не враждебностью к автору "Горя от ума" объяснялись мягкая позиция на переговорах и тот факт, что Николай I принял извинения от персидской делегации, объявив дело "небывшим".

Кстати, Джеймс Александер общался и с членами персидской миссии, когда они проезжали через Москву. Под его пером разговоры выглядели вполне невинно. Персы превозносили англичан, которые, в отличие от Грибоедова, уважают их традиции. Твердили о досадной случайности при гибели русского

посла. И жаловались на то, что им не дают в Первопрестольной спокойно пить мокко — все время куда-то ведут и что-то показывают. Но сам факт контакта британского агента с персами в столь опасный момент не мог не настораживать.

Александер тоже сетовал: в России-де трудно работать. "Русские — большие мастера всяческих уловок, а уж полицейский агент — настоящая лиса. Он способен принять любой облик, чтобы достичь своей цели: иногда это — крестьянин в лаптях… иногда — исправный солдат, иногда коробейник. Одним словом, русский полицейский, подобно Протею, может надеть любую личину". Неужели "господин шпион" полагал, что его оставят совсем без присмотра?

Тем временем дорога императора, а вместе с ним и Бенкендорфа лежала в Пруссию. Николай не хотел позволить своему тестю, королю Фридриху-Вильгельму III — Папа, — уклониться от встречи. Тот уже и ссылался на здоровье, и направлял вместо себя на границу Пруссии и Польши принцев — братьев императрицы. Мол, никак не могу приехать. Причиной таких странных экивоков было давление Австрии на соседа. Вена, "видя, что Молдавия и Валахия стали российскими провинциями, встревожилась и… вызывала недоверие к нам Берлинского кабинета".

Это "недоверие" предстояло побороть, уклониться от посреднических усилий Австрии или любого другого европейского двора. И навязать миссию миротворчества собственным родственникам.

В отчете III отделения сказано, что Австрия стремилась "получить главенство над славянскими провинциями в целях удаления от России ее естественных помощников". Петербургу не позволяли выйти из войны своими силами, стараясь истощить Россию затянувшимися боевыми действиями. Основой же мирного плана было сохранение Турции "достаточно сильной для того, чтобы она могла… во всякое время производить диверсии".

Николай Павлович инкогнито переехал через прусскую границу в сопровождении одного Бенкендорфа. И играл на немецких землях роль его адъютанта. Цель императора состояла в том, чтобы застать венценосного тестя врасплох, не дать его министрам подготовиться и навязать переговоры о мирном посредничестве именно Берлину.

Надо заметить, что население Пруссии, за долгие годы привыкшее видеть в России союзника, восторженно приветствовало императрицу, свою бывшую принцессу, и присоединившегося к ней государя. Еще никто не осознавал изменения политического ветра. Напротив. Когда Николай I

сбросил свое инкогнито, восторгам толпы не было предела.

По-семейному договориться с Папа не составило большой сложности. А вот рассуждения с министрами, настроенными весьма враждебно, Александру Христофоровичу пришлось взять на себя.

К чести нашего героя, он провел их безупречно: пруссаки дали себя убедить. Министр иностранных дел граф Х.Г. Бернсторф тоже старался уклониться от встречи, заявляя, что "мучительная болезнь удерживает его дома". Бенкендорф явился к нему. "Я нашел его крайне пораженного завоевательными планами, приписываемыми политике императора", — сообщал Александр Христофорович. Пришлось напомнить о том, что "он сам первый" обнадеживает Турцию насчет слабости России, заставляя императора "применять более значительные силы". Что "империя сгорает от нетерпения показать Европе, что она не боится угроз".

Пруссии предоставлялась возможность "сыграть роль миротворца… Мы удовлетворимся гарантиями, которых требует наша торговля… В качестве доброй услуги тестя своему зятю… король может сообщить в Константинополь о наших мирных намерениях".

Дело тронулось с мертвой точки. Ведь любое посредничество поддерживало реноме двора, который выступал миротворцем.

ВЕРЮ — НЕ ВЕРЮ

Тем временем Пушкин рвался в действующую армию, под пули. Настороженность вызывало само направление поездки. На Кавказе служили многие из "друзей 14 декабря", помилованные государем кто за молодостью, кто по недостатку улик. Его величество полагал, что сия мера правительства способна была вызвать благодарность в их сердцах и даже будущее исправление.

Александр Христофорович не возражал — его ли дело? Но смотрел на милости этим господам без задора. Одно они говорили в крепости, под страхом будущего наказания. Другое, когда расхрабрятся под горскими пулями. Разве он не ведал, как близость смерти и ежедневное молодечество развязывают языки?

Ни они сами, ни даже их родня ни о чем, кроме страшного утеснения своих семей, не думали и не писали. Вот слова мемуаристки С.В. Скалон, урожденной Капнист, чей брат во время следствия оказался в крепости: "В конце третьего месяца дела запутались: отвечать на запросы день ото дня становилось труднее, и он начинал страшиться за свою будущность". Как вдруг

молодого человека вызвал комендант и объявил, что его отпускают. "Сначала он не хотел верить", потом "бросился бежать из крепости, несмотря на то, что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя".

Все освобожденные напоследок беседовали с императором, явившись во дворец. Николай Павлович "весьма хладнокровно" обратился ко вчерашнему подследственному: "Что, Капнинст, не правда ли, что здесь лучше, чем там?" Уже эти слова показывали, что юношу скорее простили, чем оправдали.

Но семьи видели происходящее иными глазами. "Холодный вопрос этот, — продолжала Скалой, — доказывает одну жестокость души его. Ибо, знавши, что [брат] невинно страдал три месяца в заточении… он мог бы, смягчив сердце свое, сказать что-нибудь более утешительное".

Читая подобные откровения, Александр Христофорович словно через лупу рассматривал человеческую неблагодарность. Разучивался верить? Жуковский так и подозревал: "Вы на своем месте осуждены думать, что с Вами не может быть никакой искренности, Вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает Вам человек, против которого принято Ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и Вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить Вам другие. Одним словом, вместо оригинала Вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными".

Но как быть, если именно "искренность" и "прямодушие" вызывали сомнение? И это сомнение поминутно получало дополнительную пищу?

Во время процесса Бенкендорфа считали добрым следователем. Именно с ним говорили. От него не закрывались. В отличие от другого "перводвигателя" — Александра Ивановича Чернышева, теперь военного министра.

Работалось трудно. Ибо Александр Христофорович сочувствовал арестованным. Половина мальчишки. Он бы их выпорол и отпустил. Чернышев смотрел на дело иначе. Для него все как один были подозрительны. Он был убежден в виновности каждого и считал, что злодеи выворачиваются из клешей правосудия. Все они порочны, надо только хорошенько раздразнить их, и тут наружу полезет глубоко скрытое зло. Выходило пятьдесят на пятьдесят. У кого нервы послабее, тот и ломался под криком. А был ли он при этом злодеем, или так, человек заговору почти сторонний, генерал-адъютанта это не тревожило. Чернышев увеличивал поголовье виновных, предавая внушительности делу.

Даже странно, что государь находил способ не просто благоволить Чернышеву, а дружить с ними обоими. Но во главе высшей полиции поставил все-таки Бенкендорфа. Снисходительного к чужим проступкам, не склонного к гонениям.

Почему?

Многие думали, потому что во время следствия он мирволил арестантам. А молодой государь как раз не хотел раздувать дела и ждал для многих оправдания. Не так?

Отца Бенкендорфа выслали из России по доносу. Александр Христофорович на своем опыте знал, чем для человека может обернуться чужое неосторожное слово. И что бывает, когда государь такому слову верит. А потому доносителей — "тайных вестников" — шеф жандармов не баловал. Суммы гонораров для них всегда были кратны тридцати — ясный намек в христианском государстве.

Однако и государственные преступники — не та публика, с которой стоит церемониться. А потому Пушкин на Кавказе — очень соблазнительный предмет для "тайных вестников". Встречается с бывшими арестантами, пьет и говорит нараспашку. Что говорит? Кому? Пусть разузнают.

"ЖЕЛАЛ Я ДУШУ ОСВЕЖИТЬ"

Если в Тифлисе Пушкин походил на звезду которая уже не так ярко светит дома и потому отправляется по свету встречаться с поклонниками и возвращать полноту чувств вчерашнего дня. То в армии на Кавказе поэт должен был встретить "братьев, друзей, товарищей", которые могли воспламенить в нем память о прошедшей молодости.

Пока для него неочевидно было, что это ловля прошедшего дня дырявыми вершами. Но по возвращении в Россию, уже в 1830 г., в статье о Баратынском он с полным пониманием дела писал: "Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо, гармонически. Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно".

Неужели это не о себе?

Но для того, чтобы подобные мысли вызрели, необходима была поездка на Кавказ и встреча со старыми друзьями. Иногда

полезно узнать, что прежние чувства не греют по-прежнему.

Еще в Петербурге поэт пытался окунулся в кутежи. "Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры… — вспоминал Кс. А. Полевой. — В 1828 г. Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости… он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею. Раз как-то… я произнес стих его, говоря о нем самом: "Ужель мне *точно* тридцать лет". Он тотчас возразил: "Нет, нет! У меня сказано: Ужель мне *скоро* тридцать лет? Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью". Надобно заметить, что до *рокового термина* оставалось несколько месяцев!" Чиновник III отделения М.М. Попов уловил ту же черту: "Молодость Пушкина продолжалась всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком".

Но уже зимой 1828–1829 гг. П.А. Вяземский заметил у друга прорывающиеся мысли о женитьбе. Пушкин желал "покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество". Это и было эхо приближавшейся осени. Но ведь поэт не знал, что она станет золотой. Даже в 1832 г. писал:

Желал я душу освежить.
Бывалой жизнию пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

Иллюзия юности могла пробудить на секунду запнувшийся творческий поток. Прежде он фонтанировал к небесам. Недаром Пушкина называли "волканом". Следовало пройти через "роковой термин" к зрелости. А зрелости поэт пока страшился.

Между тем новый день явил новые чувства, и нельзя сказать, что они были хуже отлетевших. Да, друзья на вечеринках больше не роняли в чаши с вином лепестки роз из своих венков. Зато теперь поэт был вхож "в чертоги" и мог "истину царям с улыбкой говорить". Но, в отличие от Державина, не видел в том большого прибытка. Напротив, его чувства горчили. Еще в августе 1827 г. был сделан набросок:

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,

Приправя горькой правдой ложь…
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.

Эти "умные хвалы" — лишь дань просвещенного равнодушия. Они обесценены следующей картиной:

Меж тем за тяжкими дверями.
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
С почтеньем слушает певца.

Но уже через год противопоставление "златого круга" и гоняемого слугами народа ушло. В "Черни" ("Поэте и толпе") "народ непосвященный" будет внимать уже "бессмысленно" рассеянному бряцанию на лире вдохновенной:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес…

А далее следуют слова, которые поэт мог слышать вовсе не от уличной черни, а в высоких кабинетах, от умудренных "долговременной опытностью" мужей:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев направляй…
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Ответ должен был охладить пыл не только толпы, но и высоких чинов "направить мысли и перо" Пушкина:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!

Именно в этих строках Пушкин первым, осознанно, отказался от такого желанного для многих русских литераторов права воспитывать сограждан. "Пасти народы", как много позднее скажет Н.С. Гумилев Анне Ахматовой, имея в виду романы Льва Толстого: "Аня, если я когда-нибудь начну пасти народы, убей меня".

Пушкин отказался от этой самим временем навязываемой возможности. Понимал, что не дело литературы "сердца собратьев исправлять"? Или находил, что "чернь тупая" не достигает уровня "сына небес"? Чтобы ее исправить, нужны не наставления поэта, а крутые меры правительства:

Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!

В этих стихах много глубокого разочарования. Оказывается, для "бессмысленной" толпы нужны карательные меры. Но что, если их применят против "мирного поэта"? С Андреем Шенье так и получилось.

В ЛОГОВЕ СПЯЩЕГО ЗМЕЯ

Летом, хотя бы летом, Александр Христофорович надеялся оказаться дома. Не тут-то было. Император намеревался осмотреть военные поселения под Новгородом. О прежнем шутили: "Провел всю жизнь в дороге…" Новый, кажется, намеревался продолжить добрую традицию. Хорошо, в Таганрог не сворачивал.

Поселения, конечно, давно пора было визитировать. Но сие как старая болезнь: прихватит, и больной, согнувшись в три погибели, шепчет: все, все. А едва отпустит, так никто не торопится бежать к доктору. Знает — запустил, и лечение будет тяжелым.

Дорогая игрушка почившего в Бозе Александра I. Сожрали кучу денег, а толку чуть. Так говорили, и молодой государь этому верил. Что до Александра Христофоровича, то он был вовсе не столь категоричен, как с Польшей. Надо отделять ненавистного душегубца А. А. Аракчеева от дела, которое тот, по приказу императора, сделал весьма изрядно.

"До своего восшествия на трон император слишком часто слышал общественные голоса против создания военных

поселений… И теперь он был уверен в том, что эти нововведения… требуют значительных реформ и улучшений, — рассуждал Бенкендорф. — Он чувствовал в них большие неудобства, но не мог решиться на их ликвидацию из-за вложенных в них сил и денег. Кроме того, они уже дали ряд блестящих примеров в формировании войск и были очень полезны в окультуривании территорий, которые до того не обрабатывались… Надо было использовать все эти результаты исполнения нерушимой воли императора Александра, которые уже поглотили миллионы рублей и воплотились в труд тысяч рук".

Вполне реалистичный взгляд. Впрочем, государь подозревал, что с поселениями дело обстоит не проще, чем с Польшей. Все, что делал августейший брат, имело самые возвышенные, самые благие цели. И эти цели… ударившись при осуществлении о реальность, приобрели уродливый вид.

В 1822 г. царевич вместе с братом посещал новгородские "линии" и остался в полном восторге. Дороги, мосты, школы, удобные дома, кассы взаимопомощи, амбары, полные зерна… Имение графа Аракчеева Грузино располагалось всего верстах в двадцати от Чудова. Однако ощущение было такое, словно гости переехали границу между двумя державами, ни в чем не схожими, но по иронии судьбы населенными одним и тем же народом. Миновав шлагбаум, они из варварства попадали в цивилизацию. Буквально от станции начиналась широкая шоссейная дорога, по которой кибитка следовала без малейшей тряски. Под колесами стелилась дощатая мостовая, которая при въезде в само Грузино сменялась брусчаткой.

Каменные тротуары, сточные желоба и фонари по обеим сторонам улиц. А в палисадниках — астры, георгины и флоксы, вместо подсолнухов и крапивы. Высокие рубленые дома под черепичными крышами поражали застекленными окнами.

Особенно удивляли школы. Государь и ехавшие с ним генералы могли сами проэкзаменовать детей. Сделавший это начальник Главного штаба П.М. Волконский затосковал, ибо недавно имел несчастье поспрашивать собственных сыновей по программе пансиона аббата Николя и назвал молодых людей "дубинами". Не потому, что дураки, а потому, что лентяи. Здесь же лениться было не принято. Накажут. И очень больно. Баб, например, за не выбеленную ежедневно печку секли. И с детьми не церемонились.

Вид села Грузино (имение А. А. Аракчеева). Неизвестный художник

Великий князь Николай поверил бы собственным глазам. Но слишком много тревожного доходило с разных сторон. Офицерам, служившим в линиях у Аракчеева, именным указом было запрещено выходить в отставку. Переводу в другие места никто не подлежал. Могли, конечно, по болезни уволиться. Но коли выздоравливали и снова просились на службу, то возвращались обратно в линии — никуда больше. Их строжайше запрещено было брать в армию или на статские должности. Точно клеймо ложилось на лоб человека, еще вчера благородного и вольного.

О неразглашении увиденного давали подписку. Под Новгородом было село Высоцкое. Когда крестьян стали забирать в военные поселяне, те ударились в бега. Их поймали у самой литовской границы. Привели назад. Для острастки прогнали по разу через четыреста пар розог. Бабам по сотне, чтобы мужей не мутили. И определили всех в линии. Там, конечно, и дома дали, и скотину. Живите.

В Хволынской волости деревня Естьяны двенадцать дней стояла против регулярных войск. Приехал губернатор с указом о записи мужиков в поселяне. Привез на разживу тысячу рублей от государя. Крестьяне денег не взяли, а начали кричать: "Почитай свою бумажку нашим бабам в хлеву!" Народ затворился в деревне и отбивался от солдат. Время летнее, запасов в домах мало. Съели даже солому с квасных гнезд. Только на исходе второй

недели, когда ноги перестали носить сопротивлявшихся, их повязали.

Среди посланий покойной императрицы Елизаветы Алексеевны в Баден осталось одно 1820 г., не отправленное за болезненностью темы. Супруга Ангела объясняла матери, принцессе Амалии Баден-Дурлихской, как славно будет жить под дудку и барабан.

"Ваша тревога мне понятна. Александр действительно похож на победителя в покоренной стране. Но подумайте, сколько выйдет пользы! Будущие блага искупают кратковременные неудобства. Солдат распределяют по избам, они делаются членами семей, каждый крестьянин приобретает работника, сын его идет на военную службу, а дочь становится женой пришедшего чужака. Плоды обнаружатся со временем. Улучшится обработка земли. Рекрутский набор исчезнет, хлебопашец сделается солдатом, солдат хлебопашцем".

В памяти оставался только "победитель в покоренной стране". Как точно. И как больно. После победы! Когда-то Николай сам восхищался грядущей пользой. "Мы затеваем нечто новое. Вы вскоре увидите!" — с горячностью убеждал прусскую родню. А когда вез невесту в Россию, бабы из казенных деревень выходили к дороге, становились на колени и выли в голос, прося отменить у них поселенные полки. Они почти пели, плача свои жалобы, и тянули к карете руки. Признаться, тогда царевич был поколеблен.

Как все красиво выходило в беседах с утопистом Робертом Оуэном. Социальный мыслитель — фаланстеры, трудовые коммуны, казармы для общего счастья. Александр слушал философа в Англии. Потом оживленно блестел глазами: вот оно, чего Россия еще не видела. Величайший эксперимент! Мы противопоставим сытость голоду, порядок хаосу, грамотность темноте.

Сколько вышло страданий, мучительства. Силком выданные за солдат девки стерпелись, нарожали дети. Рвать семьи, как прежде навязывать? "Кратковременное неудобство"! У человека одна жизнь. Примерьте на себя.

Были и голодные смерти, ибо из-за построек крестьяне не имели трех дней за лето, чтобы работать в поле. Были и самоубийства. Дело прежде невиданное. Православный народ — великий грех. Пока живут — терпят. Терпят всё, кроме философского рая.

"РЕВОЛЮЦИЯ ГЛОБУСА"

О поселениях высказывались очень по-разному. От "революции глобуса", как назвал линии министр внутренних дел В.П. Кочубей, до "логова Змея", как дразнили их противники Аракчеева.

Теперь предстояло все обозреть заново и решить… Ломать ~ не строить. То, что увидели спутники, их несколько удивило. "Слезы жителей испарились… вместе с ростом населения и их размеренным существованием… Вместо крестьян появились тысячи гренадеров, в школах детей готовили к военной службе и к работе в канцеляриях… Император обдумывал изменения в существовании военных поселений с тем, чтобы облегчить их судьбу и уменьшить чрезмерную суровость и придирчивость, которые были привнесены графом Аракчеевым… В будущем следовало изменить однообразную и малоупотребительную для нашей страны архитектуру выстроенных в один ряд домов, которые соединяли в себе внешний вид и скуку казарм, не неся в себе их удобств и преимуществ".

О смягчении режима Николай I решил сразу. Но вот школы… "Сыновья солдат и колонистов воспитывались словно в кадетских корпусах, как в смысле образования, так и поведения.

Можно было сказать, что из них готовили молодую поросль наших генералов, в то время как им было предназначено носить ружья и переносить все тяготы и лишения простых солдат. В этом было заложено противоречие".

Еще бы! Образованный, как молодой дворянин, юноша попадал в грубый полковой мир, где занимал низшее положение. Как минимум он тосковал. Как максимум — мог наложить на себя руки. Недовольство собственной участью становилось для него неизбежно. А желание исправить судьбу — непреодолимо. Вкладывать деньги в то, чтобы питать новый заговор? Как это похоже на покойного Ангела!

Но чего же он, в конце концов, хотел? Александр Христофорович давно понимал, что покойный государь создавал у себя под рукой особую вселенную, где он, бог и царь в одном лице, не просто отвечал за все — но был всему перводвигателем. Когда Бенкендорф подрос по чинам и стал поближе к источнику власти, обнаружилось, что его представления о государственных персонах совсем неверные. Нет ни права, ни лева, ни либералов, ни консерваторов. А есть те, кого хочет видеть государь. Александр I приказал Сперанскому подготовить проекты преобразований в модном духе, приказал встать во главе отечественных масонов. Все зашумели: держи его, якобинец! А тот просто бумажный червячок. С Аракчеевым еще смешнее. Бедняга на коленях просил императора не вводить военные

поселения. Доказывал их разорительность. Но Александр велел, и Змей стал Змеем. А еще Ангел приказал ему составить проект освобождения крестьян, и вот незадача — это самый разумный и самый щедрый план из всех, какие были, — с землей и без выкупа.

Ученик Лагарна, читатель Радищева: "О! если бы рабы, тяжкими узами угнетенные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро из среды их исторгнулись бы великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени. Я зрю сквозь целое столетье".

Покойный Ангел думал так же. Минутами страшился неизбежного. Душа его не принимала крови. А потом понимал, что надо разрубить гордиев узел. Придумал поселения. Мало кто постигал их смысл. Говорили, что там из крестьян делают солдат. Дудки! Там из низших сословий, безграмотных и диких, делали образованный класс, способный заменить офицеров и чиновников из дворян.

Конечно, того же кругозора, той же независимости, самоуважения у них нет. Но для простейших функций сгодятся, Государство не рухнет. А со временем… Управляемая пугачевщина. "Друзья 14 декабря" хотели устроить военную революцию и думали, будто войска можно удержать от погромов в якобинском стиле. Дети! Александр I жаждал того же самого, но с другой стороны. Ангел мести!

Вот что означали странные аракчеевские школы. Пока все офицеры — дворяне, попробуй тронь крепостное право. Мигом вызверятся. Покойный Ангел не доверял благородному сословию и предвидел возможность подобного исхода. Он задумал не новое комплектование армии с целью облегчить казне лишние издержки. А новую армию в чистом виде. Без старого офицерского корпуса. Помещики либо уступят, из боязни стать "избитым племенем", либо…

Хотел ли Николай того же самого? Вряд ли. Его считали решительным и даже крутым на расправу монархом. Но Александр Христофорович видел иное: сто раз отмерь. Новый государь вовсе не склонен был резать по живому. Тем более по шву, который после прежней операции едва-едва затянулся.

А потому решение было принято не во вкусе тех, кто рубит с плеча. Программы в школах заменить. Сами поселения со всеми их выгодами оставить, режим проживания смягчить сколько можно, чтобы не расплескать уже ощутимую пользу.

Через два года поселения полыхнули. Те самые, иод Новгородом, где был государь. Из-за послаблений в железной, мертвой дисциплине? Из-за их недостатка? Страшная, ни с чем не сравнимая жестокость. Соразмерная прежнему давлению правительства.

Потом говорили, что смягчение режима военных поселений стало результатом этого кромешного бунта. Ложь. Александр Христофорович видел лично: еще за два года до событий государь принял решение и начал реформу. Легчайшее послабление было воспринято как сигнал и привело к бунту: слишком сильно перед этим завинтили винт — глубоко вогнали гвоздь в русскую шкуру.

Но что самое страшное — бунтовали не одни сиволапые, из которых вдруг сделали гренадер. "Школьники" не отставали. Значит, были и внутри поселений молчаливые сторонники идеи покойного Ангела о новой армии и "избитом племени". В 1825 г. они голову не подняли. Тихо делали свое делание. А вот через пять лет подтолкнули шар в лузу — темный и изобиженный в конец народ к бунту.

Присосались, клещами не вытащить. Как черви под коровьей шкурой. Расплодятся — беда. Сдохнет родимая.

Глава 8
"НА ДВУХ ВАНЬКАХ..."

Путешествия прервались только в середине июля, когда спутники достигли наконец Царского Села. К этому времени Бенкендорфу уже казалось, что он на своем опыте может подтвердить: земля круглая. Из Царского выехали, в Царское вернулись. Генерал выхлопотал несколько дней и отравился к семье в эстляндское имение Фалль, которое купил-таки благодаря прощальному дару Марии Федоровны.

"Строительство и обустройство" резиденции занимало его "в равной степени". Там он провел считанные дни "в величайшем счастье, находясь в кругу семьи", занимаясь "садом и всеми хозяйственными мелочами с тем большим воодушевлением", что новая поездка уже маячила на горизонте. "За всю мою жизнь, — признавался Бенкендорф, — самыми счастливыми днями, которые излечивали меня от тягот большого света, были те, которые мне удавалось провести в течение каждого лета в несколько приемов с моей женой и детьми в этом маленьком и красивом имении".

"ВАНЬКА"

Правда, и в Фалль продолжали поступать донесения о Пушкине. Но теперь он находился под недреманным оком Паскевича. Значит, отвечать за поэтические шалости будет командующий на Кавказе, а не Александр Христофорович. Вот и славно.

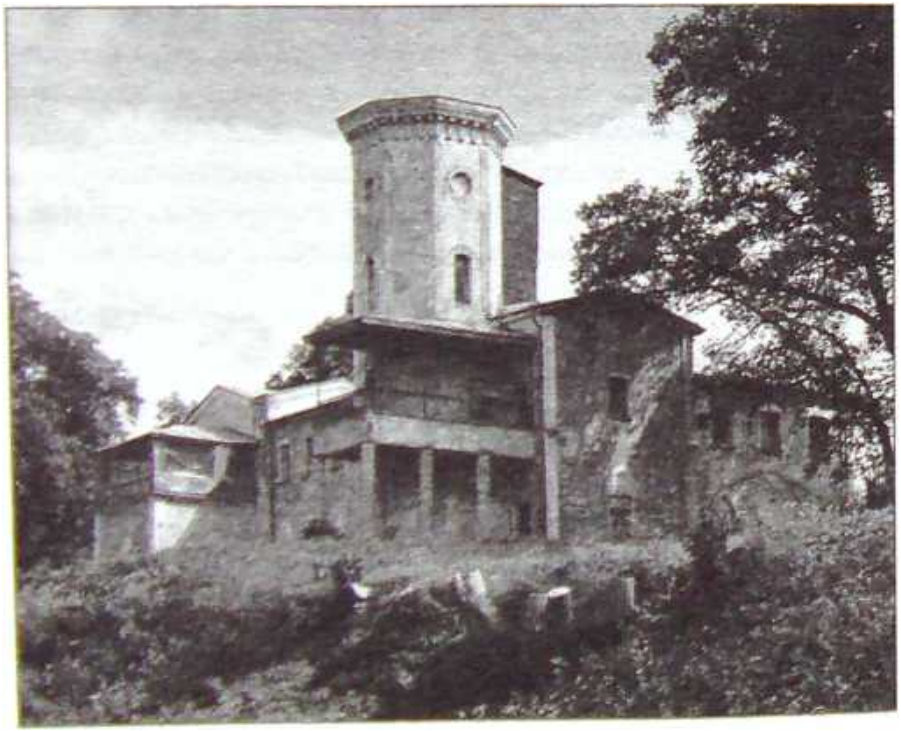
Интересно, как-то они еще поладят? Год-другой назад императору лично приходилось окорачивать крутой нрав "отца-командира", который из бывших ермоловских выдвиженцев не жаловал никого и жаловался на всех. Каждый казался ему чуть не врагом Отечества. Николай I не верил и просил смягчиться в отношении людей, "единственная цель которых — служить своему государю".

Постепенно и Паскевич обтерся. И к нему привыкли. Но не полюбили. Требователен. Подозрителен. Недоверчив. За стол с собой прапорщиков не сажает. Хочет соблюдения формальной дисциплины. Тиран!

Уже и персов прогнал. И турок, вооруженных горскими бандами, прижал крепче некуда. А все посмеивались, все не

хотели верить. Все повторяли, будто бы сказанные его же батюшкой о сыне слова: "Шо гений, то не гений, а шо везэ, то везэ".

Везет тому, кто везет. Это не только про Паскевича. Про любого из их когорты: про Бенкендорфа, про Воронцова, про Чернышева, про Киселева, про Канкрина, даже про Закревского. Да и про самого государя. Пока везешь — годен. А не везешь — иди себе с Богом.



Фалль — имение А.Х. Бенкендорфа

Император Ивану Федоровичу доверял, как себе. И для такого благоволения были веские причины. Они впервые встретились в 1814 г., когда великих князей отпустили наконец за границу. Тогда Паскевича брату представил сам покойный Ангел и назвал "лучшим генералом моей армии". Молодой генерал не поленился и вдвоем с великим князем обползал на коленках разложенные по полу карты, давая пояснения об отгремевших сражениях с Бонапартом.

Потом, в 1822 г., именно Паскевич сумел замять громкое по армии и крайне неприятное для молодого великого князя "виленское дело" с офицерами, когда те после тяжелых учении вдруг потребовали сатисфакции. Якобы царевич слишком резко остановил лошадь и забрызгал капитана В. С. Норова грязью.

Говорили о крике и оскорблениях, сыпавшихся из уст великого князя, который подгонял задыхавшихся на бегу людей. И даже о том, что Николай замахнулся на Норова. В результате ничего, кроме комьев грязи, не подтвердилось.

Его высочество считал себя правым. Упирался. Негодовал. Не хотел заметить, что против него намеренно интригуют руками рядовых офицеров люди покрупнее. Те, кто ставил на цесаревича Константина как на наследника престола. А тот возьми и откажись от своего права, ради любви к особе некоролевских кровей. Те, чья карьера строилась с расчетом на Константина, запаниковали. Захотели ослабить позиции третьего из царевичей. Ославить в армейской среде. Лишить поддержки.

Удалось? Как сказать.

Сам Николай Павлович этого не замечал и, закусив удила, подставлялся по молодости под удар открытым животом. Да и характер был — не приведи Бог. С годами государь себя смирил. Согнул крикливого капризного ребенка в бараний рог. Но тогда Паскевичу, как начальнику 1 — й гвардейской пехотинской дивизии, куда входил полк, пришлось попотеть, чтобы разгрести чужие загаженные конюшни.

Он прикрыл молодому, требовательному и не слишком осведомленному великому князю спину. Из каких соображений? Уже был его человеком? Да не то чтобы. Но точно не человеком

Константина. Действовал, чтобы избежать еще больших неприятностей. В том числе и для себя лично. Ведь за откровенную глупость царевича он, солидный генерал, с опытом и пониманием, мог поплатиться местом. А потому следовало напрячься и выправить ситуацию.

Государь этой помощи не забыл.

Бенкендорф знал Ивана Федоровича еще с детства, со времен службы пажами. Тогда уроженец Полтавских плавен "гекал" и стеснялся своего произношения. Чтобы отучить внука от обидной привычки, дед специально нанял знаменитого лингвиста Мартынова обучать мальчика словесности. С той поры Паскевич читал много и вовсе не был косноязычен, как утверждали в свете, ссылаясь на покровительство нового командующего Грибоедову. "Как не порадеть родному человечку?" Драматург — кузен жены Паскевича, вот и вся притча.

Конечно, после женитьбы Иван Федорович наел щеки, растянувшие к ушам прежние морщины, и стал походить на довольного кота, которому позволили греться на солнце, давали блюдечко молока и чесали брюхо. Но Бенкендорфу было известно, как вспыльчив и впечатлителен этот человек. Еще молодым, получив первый полк, он ринулся его обустраивать и

слег с нервной горячкой.

После войны Паскевича, как и самого Бенкендорфа, помурыжили, гоняя на ревизии. Особенно громким было "липецкое дело" 1816 г. Тогда Иван Федорович командовал дивизией в Смоленске. Казенные крестьяне, разоренные Наполеоном, получили безвозмездно хлеба на 21 тысячу рублей и освобождение от недоимок на 60 тысяч рублей. Однако они взбунтовались, отказавшись платить налоги за 1814 г. и говоря, что на самом деле с них взыскали подати в полном объеме, не выдали зерна да еще и продали весь хлеб на корню откупщикам. За неуплату обвиняемые были приговорены к сечению плетьми. Особенно Паскевича возмутил тот факт, что среди наказанных оказались два 80-летних старика.

Расследование выявило, что многие крестьяне попали в тюрьму даже без допроса, только по показаниям местных властей.

При этом хитрецы "приказные" везде соблюди букву закона, а неграмотные люди были обобраны и взяты под стражу. На имя императора Паскевич писал: "Может быть, бессовестные деяния удельных чиновников облечены формой закона, но но совести они преступны, и всякому беспорядку они настоящая причина". По его ходатайству обвиняемых освободили и все- гаки отдали им денежное пособие, а также установили рассрочку выплаты оброка.

В момент следствия Паскевич, как позднее Бенкендорф, находились в подвешенном состоянии — оба намеревались жениться, для чего командирам их уровня требовалось разрешение императора. Сразу же после ревизий такие разрешения были получены,

Избранницей Ивана Федоровича стала Елизавета Алексеевна Грибоедова, или по-светски Зи-зи. Московская штучка. Старая аристократия. Хоть и обедневшая. Особенно после пожара. Вот тут для малороссийского помещика, правнука казацкого старшины Пасько, открылся шанс. В приданое генерал получил целый воз московской родни. Что почетно. Вошел в число. Поднял фамилию не только подвигами на поле брани, но и высокими семейными узами. Укрепился. Чего до наполеоновского разорения ему бы не позволили. Стой в передней, подавай шляпы.

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ

Вот такой командующий, вместо Ермолова, ныне подпирал Кавказский хребет. Его завоеваниям следовало бы позавидовать. Но и то правда, что ныне не сам человек создает себе репутацию.

А *ему ее создают* сотней языков как при дворе, так и в обществе.

В "Путешествии в Арзрум" Пушкин писал о Грибоедове: "Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления… Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в "Московском телеграфе"".

Назначение Грибоедова в Тегеран было уступкой общественному мнению. И тут же государь получил самый горячий отклик. "Все молодое, новое поколение в восторге, — доносил Фон Фок. — Грибоедовым куплено тысячи голосов в пользу правительства. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествуют. Это победа над предрассудками и рутиной. "Так Петр Великий, так Екатерина создавали людей для себя и отечества", — говорят в обществах… Вспоминают о… других способных людях, заброшенных в прежнее время".

Первая встреча графа Паскевича-Эриванского с наследным принцем Аббас-Мирзой (пятый справа — А.С. Грибоедов)

Однако общественное мнение — не оракул, Иной раз строгий судия, оно оказывалось порой очень снисходительным. Возможно, только к "своим"? История гибели "вазир-мухтара" очень показательна. Получив "сотни голосов в пользу правительства", император не получил дела. Эпоха на сотни голосов могла бы повторить о многих ярких личностях, не достигших "степеней известных": "Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклее. / А здесь под гнетом службы царской…"

Отсутствие деятельности лучшая почва для иллюзий. Хорошо тому, кто может оседлать общественное мнение. Ермолов сам зубаст. Как скажет про "двух Ванек", на которых "далеко не уедешь", так и прилепится, с языка не снимешь. А справедливо ли, нет ли другой вопрос.

Между тем "два Ваньки" ускакали очень далеко. Лето 1829 г, внушало самые смелые надежды. Бенкендорф вспоминал: "Наши корабли под командованием адмирала Грейга курировали около Дарданелл. Они увидели национальный флаг, свидетельствовавший о победах (армии Дибича. — *О.Е.),* и оказали помощь спускавшимся с Балканских гор уланам и казакам. В этом соединении было нечто сказочное… В Азии граф Паскевич двигался и действовал как молния. Своим победоносным приближением он угрожал другой стороне Босфора. Еще несколько недель, и Константинополь будет атакован нашими сухопутными армиями, и со стороны Европы, и со стороны Азии, а наш флот перекроет проход из Черного моря и Средиземное".

По можно смотреть на дело сквозь очки журнальных авторов и видеть прямо обратное. Как глядит Вяземский. После того как Петра Андреевича не взяли на войну, где "только и весело быть русским", он набычился и писал: "Война турецкая — не дело отечественное, она не русская брань 1812 года", а жене добавлял: "У нас ничего общего с правительством быть не может. У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед". Стоило ли за год до этого обивать пороги Бенкендорфа?

Как смотрел на происходящее Пушкин? В черновике стихотворения "Олегов щит" он писал:

> И [дале] двинулась Россия
> И юг державно облегла
> И пол-Эвквина вовлекла
> [В свои объятия тугие].

У Российской империи "тугие объятья", вовлечет — рад не будешь. Очень близко к "Недвижному стражу". Так ли поэт

мыслил теперь? И да, и шире. Поэтому в основной текст стихи не вошли.

Но общество — газеты, журналы, салонные разговоры — оставалось на удивление легковерно. Обнаруживало только то, что ему показывали, о чем говорили те немногие, кто говорить умел.

Поэтому-то Паскневич не хотел ссориться с Пушкиным. Если видел в Тифлисе, то даже терпел выходки, которые, например, для Воронцова вовсе не выглядели бы смешными. "Резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека, — рассказывал спустя годы князь Е.О. Палавандов. — Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан… Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха… Даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему… А тут — помилуйте — какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его".

Зверем, конечно, Паскевич не был. Это у грузинского князя вырвалось по старой памяти о Ермолове. Вот с кем не стоило заигрывать. Придавит лапой и не заметит. А Иван Федорович, зная о расположении государя к поэту, ласкал его и держал при себе, что, как утверждали друзья, Пушкину порядком надоело.

По словам В.Д. Вальховского, командующий даже приказал поставить поэту палатку возле своей ставки. Но Пушкин предпочитал общество старых приятелей или "рыскал" по лагерю, так что посыльные от Паскевича иногда не находили его. "При всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков прямо под выстрелы. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина, что ему опасно зарываться так далеко, и советовал находиться во время дела непосредственно при себе, точь-в-точь как будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Пушкина… Он, как будто нарочно, дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности скрывался от него и являлся где-нибудь впереди в самой свалке сражения".

Между тем Иван Федорович отвечал за поэта головой. И хотел из этих хлопот извлечь выгоду. Хотя Пушкин еще ни с одним из покровителей не ужился. Ославил не одного, не двух порядочных людей. Не по злобе, а по горячности и из легкомыслия.

Первой жертвой, еще до южной ссылки, нал Алексей Орлов. Ему сочинили неприличные стихи про размер достоинства. Вторым стал брат опозоренного великана — Михаил, искренний друг поэта, но "обритый рекрут Гименея". Бедняге тоже досталось за невесту — Екатерину Раевскую, — в которую якобы был влюблен Пушкин, впрочем, как и в остальных сестер. Еще раньше их пострадал генерал Н.М. Сипягин, с Пушкиным вовсе не знакомый, но вздумавший жениться на сестре его лицейского приятеля. Тут не угодила плешь, едва прикрытая "лаврами". Потом еще страшнее — Воронцов. "Полуподлец, полуневежда".

Досталось и генералу Киселеву. Павлу Дмитриевичу, начальнику штаба 2-й армии. За что? Бог знает. И либерал, и умница. И жену к поэту не ревновал. Любовницу, кстати, тоже. И вел себя при знакомстве ласково. Обещал помочь с возвращением в столицу: старые-де связи при дворе. Тем не менее: "…он придворный,/ Обещанья ему не стоят ничего".

Сколько бы потом Киселев ни сделал, а сделал много — вся реформа по освобождению государственных крестьян на его плечах, — так и остался "придворным", чьим словам нельзя верить. Одной строкой по репутации, как бритвой по горлу.

"НЕ ПЛЕНЯЙСЯ БРАННОЙ СЛАВОЙ"

Правы были те, кто советовал Паскевичу: осторожнее. Не послушался, захотел виршей. А как иначе? Все учились на Ломоносове с Державиным. На "Взятии Хотина", на "Осени при осаде Очакова". Но ныне-то времена не одические. Поэты в конец обленились. По примеру лорда Байрона с властью в ссоре. Никого, кроме себя, не хвалят. А как красиво бы звучало: "Одна на переход Кавказского корпуса через Саганлу"! В первой строке был бы сам командующий, а по левую руку от него пушки над кручами, а по правую казаки на горной тропе выше облаков… Не сложилось.

И дело не в том, что подвиги подчиненных Паскевича были бледнее подвигов солдат Румянцева и Суворова. Литературная традиция со времен Матушки Екатерины II изменилась. Уже полвека ода вышла из моды. А критическое расположение ума в нее вошло. Нет, конечно, прихлебатели напишут. Но поэты первого ряда — никогда. Вывих души. А может, и времени в целом.

Так что не получил Паскевич од. Какими бы орлами не "взвивались его соколы"[11]. За всю экспедицию поэт выдавливал стихи по капле. Среди них "Из Гафиза", написанное 5 июня 1829 г.

в "лагере при Евфрате", содержало очень странное обращение:

Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой…
Но боюсь среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

Кому это адресовано? Кто "красавец молодой"? "После отъезда Государя и особенно во время осады Шумлы и Варны, — сказано в отчете III отделения за 1828 г., — фрондирующие старались посеять беспокойство, постоянно утверждая, что Государь увлечется войной, что гражданские дела начали ему надоедать". Пушкин, еще недавно сам "фрондировавший" и продолжавший оставаться очень близким к названным кругам, отразил в мнимом переводе "Из Гафиза" эти толки.

"Прелесть неги" перекликается с "природы голос нежный" из послания "К друзьям". Тогда под "нежностью" понималась способность государя к милосердию. "Среди мечей" он мог огрубеть и утратить ее.

Предостережение понятно. Но как сохранить стыдливость в походах и дипломатических игрищах, где никто робость не простит, а, напротив, примет за неопытность и обведет вокруг пальца? Возможно, его величество в первой робости своих "движений" и был мил поэту. Но его время, как и время самого Пушкина, текло вперед.

Второй непосредственный отклик на события вокруг — "Делибаш", помеченный 7 сентября. Ярко. А главное — с натуры.

Делибаш! Не суйся к лаве,
Пожалей свое житье;
В миг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак! Не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Н.И. Ушаков описывал "первый и последний военный дебют

любимца Муз на Кавказе" 14 июня в долине реки Ижан-Су:

"Неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт… не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутится на аванпостах". Пушкина едва вывели "насильно из передовой цепи казаков в ту минуту", когда он, "схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников… Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке".

Зато теперь можно было писать: "Был и я среди донцов,/ Гнал и я османов шайку". Или про "тихий Дон" и "ариачайскую струю", которую пьют кони, свернув домой. Звучит не хуже "кастальского ключа". Вот за такими оборотами родного языка, а вовсе не ради од стоило ездить на Кавказ.

Любопытно, что если в стихах поэт предостерегал казака: "Не рвися к бою!" — то в жизни опытные вояки-донцы были "чрезвычайно изумлены" поэтическим порывом "героя в круглой шляпе". А потому финал стиха:

Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
И казак без головы, —

может быть обращен и к самому поэту. Он имел шанс оказаться и на пике, и без головы. Потом командиров по цепочке от Паскевича и вниз распекали. А если бы случайная пуля, случайный клинок… Он — дитя. Но вы-то взрослые люди!

Согласно Вальховскому, командующий, устав нянчиться с поэтом, вызвал его к себе и сказал: "Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно". На это "Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал".

Так ли? Возможно, причиной стала распространявшаяся чума, как настаивал в "Путешествии в Арзрум" сам поэт, "вообразивший ужасы карантина". Но если Вальховский ближе к истине, то Паскевич фактически выгнал Пушкина в Пятигорск. После подобного од ждать не приходилось. Напрасно Иван

Федорович попытался раздувать усы и негодовать в письме к Жуковскому: "Заря достопамятных событий Персидской и Турецкой войн осталась невоспетою".

Ко времени этого письма Паскевич уже мог полюбоваться на

свой портрет в "Бородинской годовщине":

Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань…

Мало. Особенно если сравнивать с державинскими щедрыми "Водопадами". Булгарин, всегда верно чувствовавший настроение в правительственных кругах, почел долгом обидеться: "Мы думали, что великие события на Востоке… возбудят гений наших поэтов, — мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными… сердцу больно".

"ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАБАВНО"

В тот момент жаловаться не следовало. Отсутствие похвалы — еще не ругань. Через несколько лет Паскевичу предстояло узнать, что значит "поэтическая неблагодарность". В 1835 г., когда отношения Пушкина с правительством были далеко не самыми близкими, вышло "Путешествие в Арзрум", созданное на основании записей 1829 г. И всем, кто читал, в том числе голубым мундирам, стало ясно — лучшего военачальника императора осмеяли.

За что? Знаменитое сражение 19 июня у Саганлу, когда Паскевичу удалось за один день разбить две турецкие армии, вызывало множество противоречивых суждений.

Прочитаем мнение Бенкендорфа, ясно выразившего официальную точку зрения, но не скрывшего опасности, в которой находился Кавказский корпус: "Отступление [вражеского] авангарда открыло неприступную вражескую позицию, расположенную среди скалистых и непроходимых утесов. Главнокомандующий принял решение обойти ее, предпочитая кратковременно рискнуть безопасностью своих коммуникаций, чем произвести впечатление, что он испугался и медлит перед лицом врага. Трудным маршем через горные вершины и перевалы, еще покрытые снегом, он произвел свой маневр, сопровождаемый всеми многочисленными армейскими обозами, которые часто на руках пересекли горы и были спущены вниз". Паскевич "обошел горы, занятые противником, и вышел на равнину". Дав солдатам краткий отдых для приема пищи, командующий повел их на неприятеля. "Сражение началось одновременно во всех пунктах", а когда победа была одержана, "появились новые войска, прибывшие из Эрзерума". Паскевич ввел

в дело свежий арьергард и вновь одержал победу.

"Неприятель был опрокинут, и его преследовали со шпагой в руке на протяжении 30 верст почти до самого наступления ночи. В ходе этого блестящего преследования в наши руки попала артиллерия, обозы, военные припасы, часть оружия и лошадей".

В голосе Бенкендорфа, старого кавалериста, слышится восхищение. Совсем иначе смотрели на дело и вчерашние враги, и вчерашние союзники России. Только Булгарин считал, будто действия на Кавказе "удивили мир и стяжали уважение просвещенных народов". Вернее, так полагалось писать. На деле европейские умеренные политики опасались за "равновесие", а у более впечатлительных началась истерика, чреватая для Петербурга дипломатическим, торговым и публицистическим противостоянием.

Актом последнего и была книга французского консула Виктора Фонтанье "Вояж на Восток, предпринятый по приказанию французского правительства в 1830–1833".

Автор побывал в Анатолии, с турецкой стороны, и о том, что происходило на Кавказе, мог знать только понаслышке. Тем не менее он высказал весьма болезненную для русского правительства точку зрения об отрыве от коммуникаций, который позволил себе Паскевич.

Подтекст понятен. Франция в 1830-х гг. становилась все более и более враждебна России. В ее публицистике, как во второй половине XVIII в., когда шли победоносные екатерининские войны, или накануне наполеоновских кампаний, вновь громко звучали голоса о ничтожестве северной империи и ее агрессивности. Доказать, что самый яркий полководец царя — граф Эриванский, князь Варшавский, — на самом деле опрометчив и его не следует бояться, было весьма выгодно.

Кроме того, француз допустил бестактность, задев Пушкина, как "барда, находившегося в свете", который отозвался на поход только сатирами. Поэт не решился опубликовать "все", что было написано в 1829 г., то есть свои дневниковые записи. Из текста выходило, что Пушкин уже тогда понимал опасность маневров Паскевича и не одобрял их.

В 1-й же главе дано осуждение Паскевича как стратега устами Ермолова: "Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. "Пускай нападет, — говорил Ермолов, — на пашу не умного, не искусного, но только упрямого… и Паскевич пропал"". Далее по тексту автор "Путешествия в Арзрум" обнаруживал, говоря словами Ю.Н.

Тынянова, "тонкую военную осведомленность", которую почерпнул в беседе с Ермоловым.

Стремясь опровергнуть мнение французского консула, поэт писал в Предисловии: "Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-лу, движение, коим граф Паскевич отрезал Сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый переход к Арзруму; углубление нашего пятнадцатитысячного войска на расстояние пятисот верст, оправданное полным успехом, — все это может быть в глазах военных людей чрезвычайно забавно".

Здесь содержался намек на "военного человека" Ермолова. Но цензура настояла на замене последнего предложения, и оно приобрело другое звучание: "Может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтаны?)". Таким образом, кивок в сторону компетентного "проконсула" был заменен прямым обвинением "диванного генерала" Фонтанье в отсутствии необходимых знаний.

Однако в тексте "Путешествия в Арзрум" осталось неприятное суждение самого Пушкина о деле у Саган-лу: "…Это происшествие могло быть гибельно и для нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче".

Иван Федорович принес к подножию трона победу. Но его продолжали судить. Такова была примета времени. Если бы с заявленной меркой подошли к действиям самого Ермолова на Кавказе, они показались бы очень спорными. Но опала смывала в глазах современников даже преступления. С опальным Аракчеевым поэт, например, хотел "наговориться вдоволь" и очень сожалел о его смерти.

Таким образом, не судьба была Паскевичу уйти из когорты обиженных Пушкиным генералов. Начал шалопайскими шутками, продолжил байроническими колкостями и, наконец, высокомерно поправил военные ошибки государева "отца-командира".

Между тем 26 июня под Эрзрумом произошел любопытный случай. "Вокруг всего города были выстроены батареи, — сообщал артиллерийский офицер Э.В. Бриммер, — которые открыли по нас почти беспрерывный огонь". Следовало стрелять по вражеским пушкам, не попадая в жилые кварталы. "Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает: "Славно!" Главнокомандующий спрашивает: "Куда попало?" Пушкин, обернувшись к нему: "Прямо в город!" — "Гадко, а не славно", —

сказал Иван Федорович".

Такова цена "тонкой военной осведомленности".

"НА ЦАРЕГРАДСКИХ ВОРОТАХ"

Поэт умел говорить как "человек государственный". И тут же по неопытности оскальзывался на деталях.

Так, цыгане, кочевавшие "шумною толпою" по Бессарабии, были до 1823 г. крепостными румынских бояр. Их освободили приказом наместника Юга графа М.С. Воронцова. Ни о какой дикой вольности речи не шло. Земфира могла бы воровать кур для какого-нибудь молдавского боярина с янтарным чубуком в зубах. С цыганских "промыслов" хозяева имели долю — род оброка.

Поэт два месяца скитался вместе с "вольным" племенем и ничего подобного не заметил. Как? Такова условность романтизма. Пушкинские цыгане, как горские племена под пером Бестужева-Марлинского или индейцы Фенимора Купера, "так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных", авторы "закрасили истину красками своего воображения", как писал сам поэт.

Вероятно, правительству не хватало глубины исторической перспективы, гениальных прозрений на будущее. Но, не зная жизненных реалий, легко ошибиться. Тем более при замене их реалиями поэтическими.

Последние прочитываются в стихотворении "Олегов щит", которым представляет собой отклик на заключение Адрианопольского мира. Россия не стала захватывать Царьград, остановившись буквально у его стен.

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победы стяг.
Тогда во славу Руси ратной.
Строптиву греку в стыд и страх.
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.
Что же ныне?
Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,

Твой холм потрясся бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

Паскевичу пеняли за излишний риск. Правительству изящно, в скрытой форме — за уклонение от риска и нежелание врываться в Константинополь. Русские в 1829 г. не повторили подвига князя Олега 911 г. Чисто военная возможность имелась. Но ее реализация была чревата дипломатическими демаршами западных стран. Кроме того, разорение старого вражеского гнезда подставило бы под удар южные провинции империи, куда ринулись бы тысячи беженцев, не хуже саранчи 1824 г. способные опустошить поля и подвергнуть голоду Крым, Бессарабию, Новороссию…

Все это можно было не принимать во внимание в поэтическом порыве. Но необходимо учитывать за рабочим столом государя. Колебания настроений Пушкина — естественные для творчества — воспринимались властью как "двоякость" и неискренность. А вовсе не как детская шалость, тем более что следов последней ни в "Олеговом щите", ни в "Путешествии в Арзрум" нет.

Привычная картина, нарисованная чиновником III отделения М.М. Поповым, далеко не так проста, как принято считать: "Бенкендорф и его помощник Фон Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца… Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей. Он был в полном смысле дитя и, как дитя, никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой — извинений, обещаний и вечных проступков".

Между тем Пушкин не был *только* дитя. Хотя и не был "коноводом возмутителей". Он щепетильно охранял свое мнение и свою независимость. Император же не мог доверять поэту, позиция которого постоянно менялась от восхищения к порицанию и от порицания к пониманию.

"ЕСЛИ БЫ ЗАВТРА НЕ БУДЕТЕ МИНИСТРОМ…"

Александр Христофорович даже не задавался вопросом, кем сам являлся для Пушкина. "Безусловно благородным человеком"?

"Слишком легкомысленным, чтобы делать зло"? Чертом Ивановичем? Графом "жженкой"?

Даже в анекдот вошло: "Пушкин жженку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок". К тому же жженка — напиток со спиртом и сахаром — горит синим пламенем, напоминавшим цвет жандармского мундира.

Или, наконец, "Ангелом Хранителем"?

Правда состояла в том, что поэт наконец вернулся из странствий и его напрямую спросили: куда он уезжал? 14 октября Александр Христофорович писал: "Государь император, узнав по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали на Кавказе и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же со своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам изволили вы не сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня сделать сие путешествие".

Оправдательное письмо поэта 10 ноября обнаруживало стишком много натяжек, чтобы ему верить. "По прибытии на Кавказа не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку… Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу, и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника".

А.Х. Бенкендорф. Художник П.Ф. Соколов

При желании можно было бы придраться хотя бы к хронотопу. Но, видимо, формального объяснения казалось довольно. Выражения французской вежливости, которыми обернута суть, не могли восприниматься шефом жандармов как нечто искреннее: "Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан… Я покорнейше прошу ваше превосходительство быть в сем случае моим ангелом хранителем".

Ноябрь, по чести сказать, был не лучшим месяцем для сохранения хладнокровия. Можно только удивляться, что за конец осени — зиму Бенкендорф просто цедил приказания государя сквозь зубы, но ни разу не сорвался. Его собственное положение оказалось не из легких.

Осенью 1829 г., когда позади остались две кампании, коронация у поляков, поездки в Европу и уверения, что Россия не хочет поколебать международное "равновесие", Николая I свалила нервная лихорадка.

"В первых же числах ноября император опасно заболел, — писал Бенкендорф, — все были столь уверены в силе его здоровья, что даже во дворце обнаруживалось только лишь легкое беспокойство. Но на третий день болезнь столь быстро усилилась, что врачи были испуганы и потребовали созвать консилиум".

Тогда Александр Христофорович и сам испугался. Удар? Он говорил, он просил спать побольше. "Тревога распространилась во дворце и вслед за ним во всем городе, вспоминал шеф жандармов. — Вход в комнаты, где отдыхал больной, был

запрещен для всех, люди толпились в дворцовых залах, чтобы узнать последние новости и расспросить врачей и личную прислугу. Страх перед несчастьем превосходил его вероятность, все дрожали при мысли потерять государя".

Когда Бенкендорфа пустили к больному, он "был страшно потрясен ужасной переменой, которая произошла в чертах его лица. В них были видны страдание и слабость, он похудел до неузнаваемости".

Все ждали худшего.

"С покрасневшими глазами и со всей ангельской добротой императрица время от времени выходила из комнаты своего супруга для того, чтобы успокоить нас и узнать о тех новостях, которые можно было бы сообщить больному. За несколько дней нервная лихорадка исчерпала все физические и моральные силы императора. Врачи были в величайшей тревоге и не скрыли ее от меня. По нескольку раз в день я видел императрицу и восхищался ее неустанными заботами об императоре, которого она не оставляла ни днем, ни ночью… В тех случаях, когда мне приходилось опираться на ее мнение, я восхищался ее справедливыми суждениями в делах, которые часто ей приходилось решать".

Готовый регент. Непроговариваемые, скрытые за строкой тайны. Случись что, Александр Христофорович останется верен: поддержит права великого князя Александра и его матери. Против кого? Великий князь Константин Павлович все еще носит титул цесаревича, то есть наследника. Не отказался от него, а венценосный брат не осмеливался требовать из уважения к покойному батюшке, который подарил второму сыну сей знак отличия.

Вот что стоит за "справедливыми суждениями" императрицы о текущих делах. На Бенкендорфа она могла положиться. Как полагалась когда-то Мария Федоровна. Ныне за его плечами Корпус жандармов, рассеянный по всей империи. А кроме того, много, очень много личного влияния. Расставленные им нужные люди на нужных местах. Тот же Толстой во главе столицы. Да и Голенищев-Кутузов — родня.

Случись что…

Не случилось. Император встал.

"Наконец, после двенадцати дней страха, надежды и беспокойства, которые лучше, чем что-либо другое, доказывали искреннюю преданность императору, врачи констатировали выздоровление, — заключал Бенкендорф. — Но выздоровление медленное, с возможными рецидивами".

Что думал во время болезни императора Пушкин? Да и знал

ли вообще? В январе 1830 г. он как ни в чем не бывало попросил разрешения ехать в Париж или Италию, "покамест… еще не женат и не зачислен в службу". На худой конец "посетить Китай с отправляющимся туда посольством".

Но государь не благоволил. О чем Бенкендорф известил поэта. В конце концов, он был лишь передатчиком высочайшей воли.

Однако отчаянное письмо 24 марта 1830 г. говорит о том, что до Пушкина дошли слухи из дворца. И он догадывался, какая участь грозит шефу жандармов в случае… В своей откровенности поэт почти бестактен, но послушаем его: "Если до настоящего времени я не впал в немилость, то обязан этим не знанию своих прав и обязанностей, но единственно вашей личной ко мне благосклонности. Но если вы завтра не будете *больше* министром, послезавтра меня упрячут".

На мгновение перед Пушкиным, как в момент написания "Андрея Шенье", открылась бездна. Победят русские якобинцы, и его казнят, потому что он ни с одной властью не умеет петь в унисон. Снимут с должности Бенкендорфа, и поэта "упрячут".

Другие люди на месте Николая I и Александра Христофоровича не будут к нему столь снисходительны: "Несмотря на четыре года у равновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрение и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но, ради бога, благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать".

Оставляем читателям судить, насколько поведение Пушкина в течение четырех описанных лет было "уравновешенным". Общая горькая чаша миновала и поэта, и шефа жандармов. Государь выздоровел. Оба могли жить дальше на своих местах.

"СВЯЗАН Я С СЕМЕЙСТВОМ…"

Во время болезни государя произошло примечательное событие. Случайная встреча Пушкина в городе с вдовой генерала Раевского Софьей Александровной. Сам герой недавно скончался, и семья осталась без средств. Мать приехала в Петербург просить знакомых замолвить императору словечко о пенсионе — продолжении выплат генеральского жалованья мужа в полном объеме — 12 тысяч рублей. И наткнулась на Пушкина.

Когда-то семья Раевских была добра к нему, брала с собой в путешествие. Поэт дружил с двумя сыновьями генерала. С зятем Михаилом Орловым. Писал стихи двум дочерям. Теперь, как говорили, он в чести. Сложности его отношений с престолом сторонний наблюдатель понять не мог.

Пушкин обратился к единственному человеку, через которого за три с половиной года привык решать официальные дела. Он писал Бенкендорфу:

"Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может донести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу… Прибегая к вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так плачевна, — заинтересовать скорее воина, чем министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа".

Теперь Бенкендорф стал "добрым и отзывчивым". Хотя поэт понимал, что просит "весьма не вовремя" — на него продолжали сердиться за Кавказ. Государь ворчал. Это ворчание хорошо слышно в наброске вступления к "Домику в Коломне":

Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов — иль за бесцелье
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта — не безделье,

Что славы прочной я добьюся вряд,
Что хмель хорош, но каково похмелье?
И что пора б уж было мне давно
Исправиться, хоть это мудрено.

Под "важными особами" легко узнать императора и шефа жандармов. Они "твердили". Большие, взрослые люди. А поэт тем временем в ус не дул. Но вот возникла ситуация с рентой Раевским, и оказалось, что надобно обращаться к "важным особам", занятым нудными делами.

"Боже меня сохрани единым словом возразить против воли того, кто осыпал меня столькими благодеяниями, — писал поэт о государе. — Я бы даже подчинился ей с радостью, будь я только уверен, что не навлек на себя его неудовольствия".

Поэт хотел, чтобы ему сказали, что на него больше не сердятся. Между тем дружеские связи тянули его в тот круг, на который император не сердиться не мог. Чуть позже Пушкин будет просить разрешения поехать в Полтаву, куда направился его друг генерал Николай Раевский-младший и где находился в ссылке кузен Александр. Но получил отказ. Бенкендорф пояснил, что император имеет причины быть недовольным этими людьми.

Поэт и сам понимал причину: половина семейства "в изгнании". О братьях сказано. Мария Николаевна вместе с мужем Сергеем Волконским в Сибири. Ее старшая сестра Екатерина с мужем же, прощенным декабристом Михаилом Орловым, в деревне. Остальные — вдова и сестры Елена с Софьей — на грани нищеты.

Так семью Раевских догнало эхо полуторагодовалой давности — скандала в доме Воронцова. Старуха Александра Васильевна Браницкая, теща "брата Михаилы" и тетка генерала Николая Александровича Раевского — очень богатая вдова, — никогда не оставляла родню. Придумала ренту — 10 тысяч рублей — и ежегодно платила их старшему из сыновей генерала — Александру, поскольку щепетильный герой никакой помощи бы не принял.

После скандала с выкриками кузена на улице эти деньги скомпрометировали собственную дочь Браницкой — Елизавету. Рента прекратилась.

Обратим внимание, как повел себя Александр Христофорович. Дело Раевских было решено. Семья получила ренту. Позднее Нащокин даже утверждал, что именно поэт выбил у царя помощь для семьи героя. Хотя понятно, что Софья Александровна действовала не через одного Пушкина.

Однако в письмах Александра Христофоровича поэту нет ответа именно на вопрос о Раевских. Чему не следует удивляться. Шеф жандармов получил сведения, донес государю. Остальное — вне компетенции Пушкина. Обсуждения с ним не требует. Именно такова была логика времени. Свобода обращения информации, такая ценная для сегодняшнего дня, чужда той эпохе. На каждом уровне человек сталкивался с кругом "свойственных ему" знаний. Домогаться участия в большем считалось неприличным. Предоставление таковой возможности — неосмотрительностью и даже слабостью со стороны начальствующего лица. Поэтому, хотя Раевским и оказали помощь, с Пушкиным ее не обсуждали.

Глава 9
"КАСАТЕЛЬНО ВАШЕГО ЛИЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ"

Болезнь императора миновала. Правда, один случай едва не вернул его на одр страданий. Едва пойдя на поправку, Николай I в беседе с честным, но недалеким генерал-губернатором столицы П. А. Толстым случайно узнал, что британский кораблю "Блонд" вошел в Севастополь.

Что тут началось! "Краска залила лицо императора, он затрясся от гнева, — вспоминал Александр Христофорович, — от этой наглости англичан, которые посмели войти в Черное море, и от глупости турок, которые им это разрешили". Были вызваны министр иностранных дел К.В. Нессельроде и морской министр А.С. Меншиков, оба пребывали в гневе на Толстого и в страхе за возможный новый разрыв дипломатических отношений. "Они нашли императора в ярости, он отдал им ясные приказания: одному — немедленно отправить один линейный корабль и один фрегат пройти через Босфор, другому — потребовать у Англии объяснений… Нужно было подчиняться безотлагательно".

Покинув спальню больного, высокие персоны начали рассуждать, как выполнить "столь резкие приказания". Бедняга Толстой "впал в безысходность от своей непредусмотрительности". Рикошетом, вероятно, задело и Бенкендорфа, чьим человеком был граф. К счастью, Алексей Орлов, находившийся на переговорах в Стамбуле, еще не покинул города и сумел устроить пропуск русских кораблей через проливы, "не оскорбив турецкого достоинства". Английская же сторона сделала выговор своему дипломатическому представителю в Турции и уволила со службы капитана "Блонда".

"СТАМБУЛ ЗАСНУЛ ПЕРЕД БЕДОЙ"

Таким образом, дипломатические условности были соблюдены, а едва обретенный мир сохранен. Хотя каждая из сторон, конечно, понимала всю важность произошедшего. Путешествие "Блонда" подчеркивало для России саму возможность непосредственного нападения со стороны великой морской державы, И государь это понимал.

Остальные, включая Бенкендорфа, считали происшествие

"малозначительным". Оно казалось им страшным постольку, поскольку могло снова уложить государя в постель. По, вероятно, именно эго событие заставило императора подняться. Николай I начал не болеть, как положено обычному человеку, а, что называется, перехаживать хвори на ногах. Перебарывать усталость и слабость организма. Что особенно ясно обнаружилось во время холеры в Москве в 1831 г. "Буду перемогаться, пока хватит сил", — писал он позднее.

После большого страха наступило большое облегчение. Новый, 1830 г. поначалу не сулил никаких неприятностей. Напротив, казалось, будто главные беды остались за спиной. В Россию прибыло турецкое посольство во главе с Халил-пашой. По сравнению с прошлогодними "персиянами", которые посетили Петербург в конце августа, чтобы просить прощения за гибель русских дипломатов во главе с Грибоедовым, турки казались "менее дикими". Во всяком случае, такими их увидела Долли Фикельмон.

"Я танцевала вальс с императором, к большому удивлению присутствовавших здесь турок, — писала жена австрийского посла. — Двое из них говорят по-итальянски, а один довольно хорошо по-французски. Кажется, они полны решимости порвать со всеми своими ориентальными привычками. Верно, что Халил-паша ревностный новатор, но по нему нельзя судить об остальных".

Государь и Бенкендорф, напротив, не одобряли тот факт, что в условиях "кризиса" султан отдаляется от своего "фанатичного народа". Но "простые и благородные манеры" Халил-паши, по словам шефа жандармов, "всем пришлись по душе", посол старался "соответствовать обстоятельствам". В этих строках содержалась скрытое осуждение персов — прямого Александр Христофорович не позволил себе в тексте. Видимо, гости не умели держать себя с простым благородством побежденных, то есть "соответствовать обстоятельствам". Как бы ни каялся принц, но в Москве он по персидской традиции попытался забрать из дома "красавицу Демидову", уверяя родителей, что "увезет ее в Тебриз и сделает королевой гарема". Ему было указано, что в России так не делают, и простодушный юноша удивился. Почему? Ведь он готов заплатить… Но еще неприятнее было желание персов получить назад 12 пушек, посланных в подарок шаху Аббас-Мирзе еще императором Александром I, стрелявших в русские войска и захваченных ими в боях. Отказать было нельзя — дипломатический дар. Орудия заменили таким же числом современных из Арсенала и отправили в Тегеран в числе других презентов.

Велика же была нужда в мире на восточных границах, если подобное приходилось терпеть.

Турки выглядели не в пример "цивилизованнее". Только наряд Халил-паши "всех шокировал". "По приказу султана вместо живописной национальной турецкой одежды на нем был длинный и нескладный плащ, вместо красивого азиатского тюрбана у него на голове был темно-красный колпак с неуклюжей кисточкой. Он казался смущенным и пристыженным этим переодеванием, которое было весьма мало популярно в Турции".

Александр Христофорович впервые видел феску и не одобрил ее, а ведь ему самому она бы очень пошла.

Итак, в Европе поддерживали стремление турок порвать с "ориентальными привычками". В России сквозь зубы осуждали уход от живописной фанатичности.

Пушкин же приравнивал отказ турок от себя к гибели и противопоставлял развращенных жителей Стамбула остальному Востоку.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего раздавят.
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

В России же происходило нечто обратное: "контрреволюция революции Петра", как писал поэт Вяземскому.

Сначала, в первых числах марта, государь в сопровождении Бенкендорфа отправился снова в военные поселения, а оттуда, никого не предупреждая, в Первопрестольную. "Я был крайне удивлен этим скорым и неожиданным решением, — писал Александр Христофорович, — которое противоречило ранее о отданным приказаниям. Императора позабавило мое удивление". За 34 часа они достигли старой столицы. Стояла ночь. В Кремле спутники "едва раздобыли свечей, чтобы осветить спальню императора", тот лег на кушетке, предоставив Бенкендорфу до утра принимать прибывающих чиновников.

На другой день на площади собралась целая толпа — зрелище можно было бы принять за народное возмущение, если бы не крики радости. Государь отправился в собор, а двинувшиеся за ним шеф жандармов с генерал-губернатором Москвы князем Дмитрием Голицыным рисковали "быть раздавленными или отброшенными".

В дипломатических кругах не переставали говорить об этой внезапной поездке. Фикельмон передавала слухи: "В народе

разное толковали об этом внезапном появлении государя. Многие поговаривали, что за императором в Москву последуют все европейские монархи, что вслед за тем из Константинополя приедет султан и будет обращен в православие в присутствии сего августейшего синклита европейских государей".

Каким бы нелепым слух ни казался посланнице, почва под ним была. Во время высочайшей аудиенции 28 января Николай I попросил Халил-пашу передать султану "дружеский совет" — сменить исповедание и "почувствовать свет истинной православной веры". Такой поступок примирил бы Оттоманскую

Порту с православными территориями Греции и славянами, входившими в ее состав. Не следует преувеличивать удивление турецкой миссии — идея время от времени обсуждалась в самом Константинополе. Последним, кто высказывал ее уже в XX в., был Кемаль Ататюрк…

Краткое пребывание в Москве, "полностью компенсировало" усталость императора, особенно заметную после болезни. Несколько дней купания в народной любви, потом быстрый бросок обратно в Северную столицу, где спутники очутились уже 15 марта. А на другой день "мы снова сели в коляску" — их ждала дорога в Польшу на открывавшийся там Сейм.

Теперь стало ясно, зачем Николай I ездил в Москву. Находясь на скрещении нитей восторженного чувства, шедших от подданных, он получал невиданную силу. Фрейлина императрицы Александры Федоровны М.П. Фредерикс описала увиденное во время другого, более позднего, приезда императора в старую столицу: "Народ не покидал площади ни день, ни ночь… эта масса народа, стоявшая вплотную… не давила друг друга, и никаких несчастий не случалось. Потом государь выходил из дворца и шел в самую середину толпы… Он шел один, медленно пробиваясь через толпу без всякой охраны; он знал, что ни один злоумышленник не дотронется до него, их тут нет". Из окон дворца было видно: Николай I уходит от "этой колышущейся, как волна морская, тысячной толпе, отделяясь все более и более, и, наконец, в сливавшейся этой черной массе видна была только одна белая точка — его султан на каске… Эти несравненные минуты давали такое высокое спокойное чувство счастья и гордости быть русским".

"ЗЛОБНАЯ КОЛДУНЬЯ"

В Польше если и ожидал взрыв энтузиазма, то неискренний. А на другой не приходилось рассчитывать. Сам император давно

выбрал свою сторону. Позднее, когда началось восстание, он скажет: "Если один из двух народов и двух престолов должен погибнуть, могу ли я колебаться хоть мгновение?"

Но и с поляками император намеревался поступать честно: "Я исполню в отношении их все свои обязанности… я не напрасно принес присягу". Поэтому в начале 1830 г. в Варшаве был собран Сейм, которым Константин манкировал несколько лет.

Цесаревич назвал происходящее "ужасным фарсом", "к большому неудовольствию поляков". На первом же заседании решено было поставить памятник Александру I, а дальше все пошло как принято при парламентском строе. "Среди делегатов стала формироваться оппозиция", готовившая жалобы, упрекавшая великого князя и сетовавшая на "слишком большие военные расходы". Это при условии, что Польша не принимала участия в минувших войнах.

В разгар прений к государю пришел депутат, попросивший денег для своей фракции, которая бралась отстаивать в Сейме интересы России. Для Николая I это был настоящий шок. До сих пор он видел с изнанки только самодержавие. Теперь пришлось узреть парламентскую кухню. Позднее Николай I говорил, что понимает либо монархию, либо республику, что до конституционного монарха, то "я им был" — и скептически морщился.

Депутата выгнали. Жалобы на великого князя решились прочитать. Бенкендорф фиксировал возросшее недовольство: "Всякие надежды на изменения испарились, все иллюзии поляков об ограничении власти великого князя… развеялись. Не было конца тому стесненному положению… с которым его могущество давило на страну". Раздражения "больше не скрывали. Все поляки и даже русские, кто окружал великого князя, высказывали свое неудовольствие… По своему чину я был против подобных откровений, но они были столь единодушными и искренними, что против воли я стал разделять общее мнение".

Впрочем, высший надзор еще год назад предупреждал, что поляки считают себя в империи "эдакими париями" и "убеждены, что… их приносят в жертву особым обстоятельствам". То есть братским узам.

Великий князь повадками все больше напоминал покойного родителя Павла I, только обрушивался не на терпеливых русских, а на впечатлительных поляков. А ведь даже русские в свое время не выдержали… Теперь цесаревич Константин "более, чем когда-либо, ревниво относился к своей власти", в разговорах с министрами и ближним окружением у него "ярко проявлялось несогласие" с позицией Николая I. "Малейшее противодействие

приводило его в ярость. Похвалы императора в адрес некоторых военных и гражданских чинов вызывали его критику. Подчас он был недоволен теми же самыми чиновниками, которые получали отличия по его собственной рекомендации".

Чем не Павел? Когда-то Константин повторял: "Меня удавят, как батюшку". Теперь он очень близко подошел к этой черте. Не удавили, но восстали. "Если бы эти искренние жалобы были скрытыми, то можно было бы предвидеть реакцию, даже революцию, — рассуждал Бенкендорф. — Но они были открытыми и касались только одного человека — великого князя… Растущее благосостояние края во многом уравновешивало придирки, вспыльчивость и унижения", исходившие от Константина.

Уравновешивало бы. Если бы дело происходило в России. Но "унижение", помноженное на национальный темперамент, неизбежно давало взрыв. Правда требовался еще внешний толчок. А его пока не было. Сама по себе, без надежды на иностранную поддержку, Польша не рискнула бы бунтовать. Но кто мог поручиться за будущее?

Грозным предвестием оказалась неприятная встреча со старой княгиней Изабеллой Чарторыйской по дороге на Брест-Литовск. В ее великолепной резиденции Пулавы, в трехэтажном дворце-игрушке, всегда останавливался, проезжая через Польшу, император Александр I. Он тепло относился ко всему семейству Чарторыйских, дружил с сыном княгини Адамом, которой в начале царствования даже был русским министром иностранных дел, но с нашествием Наполеона изменил старому сюзерену. Теперь Адам выступал в Сейме с похвальными речами в адрес покойного Ангела. Но ему не доверяли и считали, что при первой возможности он снова перебежит. Через несколько месяцев это мнение подтвердилось.

Сама княгиня собирала около себя толпы "недовольных и интриганов". Николай I, в отличие от брата, не умел делать доброжелательное лицо, когда ему кто-то не нравился, и решил не задерживаться у старухи. "На последней станции в Пулавах… какой-то человек во фраке от имени княгини пригласил императора остановиться в ее жилище. Удивленный до глубины души такой вольной манерой приглашать своего государя, император вежливо отказался".

Бенкендорф обращал внимание на фрак. Но сегодняшний читатель не готов понять, в чем дело. А дело в мундире, который, по неписаному закону того времени, говорил сам за себя. Надевая мундир определенного полка, определенной нации, даже гражданский дворянский мундир определенной губернии,

человек как бы обнаруживал себя, свою принадлежность. За него ручалась целая корпорация. Фрак был подобен отсутствию подписи на документе. Маске на лице. Он давал определенную свободу — потому его так и любили байронисты. Но он же отнимал благонамеренность. Доверие со стороны окружающих.

Поэтому император не мог принять приглашение от "фрачника" — мало ли что тот задумал и кто он такой. А старая княгиня, посылая подобного слугу, демонстрировала свою независимость. Она не идет на поклон к завоевателю, а выказывает лишь вежливость, ставит себя на одну доску с ним.

Николай I подобного обращения не любил и просто поехал дальше. Но не тут-то было. Оказывается, Изабелла Чарторыйская только хотела подчеркнуть свое высокое положение. Но отказ августейшего гостя посетить ее, забвение русскими государями дороги в Пулавы роняло старую княгиню в глазах собиравшихся у нее прихлебателей.

После переправы императора на лодке через Вислу хозяйка замка явилась сама в окружении целой толпы и стала просить Николая Павловича посетить ее. Тот вежливо отказался. Бенкендорфу пришлось даже поторопить запрягавших коляску слуг. На его взгляд, старуха имела "вид злобной колдуньи". "Вы мне сделали больно, — сказала она, — я не забуду этого всю мою жизнь".

Угроза могла показаться смешной, но Александр Христофорович писал, что странный случай "ускорил революционные события… Ненависть, которую эта старуха все время испытывала к России, запылала с новой силой, и она усердно разожгла гневом все слабые польские головы".

Не верится? Между тем генерал знал, что говорил. Еще молодым, по дороге во Францию, он провел долгое время в Белостоке, замке сестры последнего польского короля Станислава-Августа Понятовского, и имел возможность много общаться с представительницами знатнейших польских родов. Его любовница Анна Потоцкая даже говорила, что "настоящая аристократия сохранилась только в Польше" — сильная, независимая от власти, богатая. За стол ежедневно садилось около пятидесяти человек, а остатками пиршества питались еще пары две слуг. Один родовитый магнат содержал и кормил множество "клиентов", они слушали и разносили его мнение окрест.

Не стоило сбрасывать "злобную колдунью" со счетов. А вместе с ней всю ту "холопскую" массу, которая одновременно играла в парламентаризм, таскалась на поклон к старой княгине, ненавидела завоевателей и от их государя ожидала улучшения

своей участи.

"ВЕСЕЛЫЙ ЛАСКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК"

В это время в Петербурге разразился скандал. Фаддей Булгарин выпустил роман "Дмитрий Самозванец", где Пушкин обнаружил ворованные из "Бориса Годунова" сцены.

Началось великое столкновение, которое непосредственно задело Бенкендорфа и императора. Обе, подчеркнем, обе стороны конфликта не пожалели друг для друга грязи. Обе искали "правосудия" у власти. "Высоким персонам" не удалось совсем уйти от "журнальной драки". Кроме того, изначальной установки не вмешиваться не было. Напротив.

Высший надзор полагал, что императору стоило бы оказывать покровительство писателям. "Министр [народного просвещения К.А. Ливен] не знает ни одного литератора и ни одному из них не сказал любезного слова", — констатировалось в отчете 1829 г. Между тем "литераторы стремятся превозносить царствование императрицы Екатерины и первые годы царствования императора Александра — как эпоху, когда к писателям относились с уважением, ухаживали за ними и награждали их. Во всех европейских государствах, — говорят они, — самые видные литераторы и артисты пользуются, по собственной инициативе государей, некоторыми щедротами со стороны правительства. Очень многие считают, что государю императору следовало бы время от времени проявлять свое благоволение к тому или другому из наиболее выдающихся писателей".

Но как узнать, кто останется в веках, а кто хоть и популярен — пустышка? Кроме того, вступая в контакты с писательской средой, трудно было сохранить баланс, поскольку она кипела внутренними противоречиями. Участие в них правительства было равносильно потере лица. Кто-то обязательно остался бы недоволен. "Высшие слои общества у нас чужды национальной литературе, — сказано в отчете 1830 г., — но весь средний класс, молодежь, военные, даже купцы, все принимают близко к сердцу ее преуспеяния, все писатели имеют своих многочисленных сторонников, которые взирают на них, как на оракулов общественного мнения, повторяют их рассуждения и усваивают их мировоззрение".

После приведенного рассуждения стоит ли верить, что шеф жандармов был абсолютно чужд литературе и ничего не понимал в вопросе? Возможно, он, как пресловутая калмычка, "слегка Шекспира не ценил", но в механизмах функционирования

писательской среды поневоле разбирался.

Одним из "оракулов общественного мнения", чье мировоззрение в начале 1830-х гг. усваивалось "средним классом, молодежью, военными и даже купцами", был Ф.В. Булгарин. Современники не смотрели на этого автора через призму его дурных отношений с Пушкиным. Близость с III отделением еще не успела скомпрометировать писателя в глазах либеральной общественности. Словом, он был популярен. И неудивительно, что "голубые мундиры" взялись опекали его журнал "Северная пчела".

Позднее, уже во времена Н.А. Некрасова, его возлюбленная А.Я. Панаева записала свое впечатление от Булгарина: "Черты его лица были вообще непривлекательны, а гнойные воспаленные глаза, огромный рост и вся фигура производили неприятное впечатление". Ее муж И.И. Панаев добавлял: "Новое пишущее и читающее поколение этого времени все без исключения презирало Булгарина. Тот, кто печатал свои статьи в "Пчеле" или был в коротких отношениях с ее редактором, компрометировал себя в мнении молодежи". Однако такое отношение сложилось позже и было характерно для либеральной среды.

А вот мемуаристка М.Ф. Каменская, урожденная Толстая, запомнила редактора "Северной пчелы" даже внешне совсем другим: "Булгарин был кругленький, на коротеньких ножках, с порядочным брюшком, голова плотно постриженная, как бильярдный шар, лицо смятое, глаза вытаращенные, как у таракана, толстые губы его плевались, с лица не сходила задорная улыбка, и вечно он спорил и хохотал". Что же до душевных качеств, то тут несогласия с Панаевыми еще больше: отец мемуаристки Ф.П. Толстой "всегда отзывался о нем как о прекраснейшем муже, нежнейшем отце, хорошем товарище… всегда готовом подать помощь ближнему". Все это Каменская вставила в воспоминания, желая сказать "хоть одно доброе слово в память об оклеветанном современниками" "веселом ласковом человеке", которого "привыкла любить с детства".

Ф.В. Булгарин. Неизвестный художник

Человек бойкого пера, прирожденный журналист, Фаддей Венедиктович являлся автором текущего дня, чья слава "скоромимопроходяща". Ничего для вечности. О способностях Булгарина многие истинные служители Аполлона отзывались неблагоприятно — суррогат литературы. Жуковский, например, писал: "У него есть что-то похожее на слог, и однако нет слога; есть что-то похожее на талант, хотя нет таланта; есть что-то похожее на сведения, но сведений нет… это какой-то восковой человек".

Таких, как Булгарин, не призывали "Всеблагие, как собеседников на пир". Но для них высокие тиражи и благоволение начальства были лучшей наградой. Однако и Толстой был прав, говоря о "хорошем товарище… всегда готовом подать помощь ближнему". Булгарин спас рукописи К.Ф. Рылеева, который накануне ареста принес ему кипу черновиков. Дружил с Грибоедовым.

Литературная репутация этого человека вовсе не исчерпывалась одним прозвищем Видок Фиглярин, а жизнь напоминала авантюрный роман. Поляк, уроженец Западных

губерний, он в войну 1812 г. сражался на стороне Наполеона, попал в плен, вновь оказался в России, писал по-русски и обрел популярность как автор плутовских новелл.

В 1826 г., когда и Пушкину государь заказал записку "О народном воспитании", Булгарин написал заметки о Царскосельском лицее, чьи "правила" не были признаны благотворным для юношества: "В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства". Рассуждение Пушкина о просвещении и талантах император отверг по причинам морали, а вот слова Булгарина показались интересными.

Тогда же Фаддей Венедиктович был привлечен к чтению "Бориса Годунова" и, как мы помним, не одобрил пьесу, подсказав "начальству" идею переделать ее в прозаический текст наподобие Вальтера Скотта. Поскольку Пушкин не хотел и не мог произвести над своим детищем подобную операцию, Булгарин в надежде на похвалу свыше решил написать такой роман. Скандал был неизбежен.

ГОФМАН И ФРАНЦУЗ

Весной 1830 г. читающая публика увидела 2-е издание романа "Дмитрий Самозванец". В предисловии автор в выгодном ключе сравнивал себя с Пушкиным, он-де "не употребляет никаких известных мер для приготовления мнения общества… не читает предварительно своих сочинений в рукописи в собраниях… но трудится в тиши кабинета".

"Арапская кровь" поэта закипела. Он обвинил Булгарина в плагиате, причем публично. 18 февраля Булгарин почел долгом написать поэту личное письмо: "Побеpегите свою славу! Можно ли возводить на меня такие небылицы? Я не читал вашей трагедии". Славны бубны за горами. "Говорят, что вы хотите напечатать в Литературной газете, что я обокрал вашу трагедию! Что скажет публика?…Неужели, обрабатывая один (то есть по имени только) предмет, нужно непременно *красть* у другого?"

Неблагоприятный резонанс очень заботил Булгарина. Тем временем редактор "Литературной газеты" Дельвиг поддержал мнение друга: "Обвиним Пушкина в похищении, он многое заимствовал из романа "Дмитрий Самозванец"… хотя по странному стечению обстоятельств за пять лет до рождения

романа г. Булгарина".

Сам поэт находил два случая воровства. "Раскрыв на удачу исторический роман г. Булгарина, нашел я, что и у него о появлении Самозванца приходит объявить царю князь В. Шуйский. У меня Борис Годунов говорит наедине с Басмановым об уничтожении местничества, — у г. Булгарина также. Все это драматический вымысле, а не историческое сказание".

Советские исследователи внимательно проработали весь текст булгаринского романа и обнаружили множество совпадений. Большинство из них, правда, ведут к "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина, на которого Булгарин ссылался еще в рецензии для III отделения. Оба автора многое почерпнули у Николая Михайловича, но тот, несмотря на блестящий стиль, писал "научное" произведение. В отношении историографа ни о каком плагиате речи идти не могло.

Скорее стоило бы говорить о взаимным влиянием текстов. Однако в те времена, когда и писателей было гораздо меньше, и книг выходило сравнительно немного, от автора требовали полной оригинальности. Тот факт, что пушкинский "Тазит" многими коллизиями сюжета родствен "Пертской красавице" Вальтера Скотта, — литературоведческое достояние сегодняшнего дня. Сам Пушкин, вероятно, отрицал бы подобные параллели.

Со времен незлобивого Карамзина сложилась традиция, при которой автор сам не участвовал в журнальном обсуждении своих книг — не отвечал на критику. Стоял над схваткой. Пушкин считал эту традицию неправильной, поскольку она тормозила развитие литературоведения. Нужно писать ответы злопыхателям: "Такие антикритики имели бы двоякую пользу исправление ошибочных мнений и распространение здравых понятий касательно искусства".

Позиция Карамзина позволяла сохранить нервы и достоинство. Позиция Пушкина — дать ответ наглецам. В "Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений" Пушкин, воскрешая традицию XVIII в. с ее иносказаниями и ссылками на Китай, рассказал историю двух литераторов из Поднебесной: "Некто из класса грамотеев, написав трагедию, долго не отдавал ее в печать — но читал ее неоднократно в порядочных пекинских обществах и даже вверял свою рукопись некоторым мандаринам. Другой грамотей (следуют китайские ругательства) или подслушал трагедию из прихожей… или тихонько выкрал рукопись из шкатулки мандарина… и склеил на скорую руку из довольно нескладной трагедии чрезвычайно скучный роман".

Поскольку в "Опыте" задевались "мандарины", он не пошел в

печать. Но изустно полемика между двумя виднейшими авторами современности обсуждалась во всех салонах. Тем более что в начале января обоих избрали в члены Общества корифеев словесности. 11 марта "Северная пчела" напечатала "Анекдот о Гофмане", который показывал, что Булгарин взбешен до потери чувства юмора. В "Анекдоте" писатель Гофман смиренно сносит оскорбления. А его антипод Француз (лицейское прозвище Пушкина) нападает на невинного. Противник Гофмана служит "усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам… в своих сочинениях не обнаружил ни одного живого чувства, ни одной полезной истины", его сердце "немое и холодное существо, как устрица, а голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами". Француз "бросается рифмами во все священное" — намек на "Гаврилиаду". "Чинится перед чернью вольномыслием, а тишком ползает у ног сильных", "марает листы на продажу" и спускает "деньги на крапленых листах". Обвинения в сервильности, превращении литературы в "род промышленности" и даже в шулерстве — все крайне болезненные для поэта.

"ВИДОК" И "МАНДАРИНЫ"

Через несколько дней, 24 марта, Пушкин написал Бенкендорфу в Варшаву, прося защиты, и назвал его "ангелом-хранителем". Конфликт выходил на новый виток. К делу привлекались "мандарины".

"Господин Булгарин, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов… После той гнусной статьи, которую он напечатал обо мне, я считаю его способным на все… он может причинить мне бесконечно много зла".

Мы уже говорили, что письмо слишком откровенно, чтобы быть тактичным. Вероятно, Пушкин хотел упредить удар соперника. Не позволить ему первым осведомить правительство. Тем не менее само предположение о влиянии Булгарина на Бенкендорфа было для генерала оскорбительно.

Пока суд да дело, оба фигуранта вновь обменялись журнальными ударами. Булгарин 22 марта выпустил критику на 7-ю главу "Онегина", где обвинил Пушкина в отсутствии патриотизма. А поэт 6 апреля, на Пасху, опубликовал у Дельвига рецензию на "Записки Видока" — знаменитого парижского полицейского сыщика. Жан-Франсуа Видок, в прошлом преступник, стал главой "национальной безопасности" Франции. Такой человек, по словам поэта, не имел права писать

нравоучительные мемуары.

Его портрет, нарисованный Пушкиным, был слишком близок к образу Булгатина, чтобы современники могли обмануться. "Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута… Видок в своих записках именует себя патриотом… как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество!..Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей".

Здесь, как и в статье Булгарина, был полный набор обвинений: от жены легкого поведения до хвастовства дружбой с Рылеевым и Грибоедовым. Рассказ заканчивался прямым обращением к властям: "Сочинения шпиона Видока… не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн…" Имеют ли шпионы право писать мемуары, не есть ли интерес публики к подобной литературе крайним нарушением приличия?

У власти тем временем был свой соблазн. Запретить. Булгарин совершил ложный ход. Раскритиковал главу "Онегина", уже одобренную императором. А посему Николай I был удивлен такой наглостью. Он благоволил Пушкину и считал долгом за него заступаться. "Я забыл вам сказать, любезный друг, — писал император Бенкендорфу, — что в сегодняшнем номере Пчелы находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина… Предлагаю вам позвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и, если возможно, запретите его журнал".

С начала года по желанию императора уже трое журналистов подверглись унизительному наказанию. А.Ф. Воейков, издававший журнал "Славянин", был посажен на гауптвахту за публикацию сатирического стихотворения Вяземского "Цензор", направленного лично против князя А.Н. Голицына. А сам Булгарин и его соредактор Н.И. Греч сутки провели под арестом за неблагоприятные статьи о романе М.Н. Загоскина "Юрий Милославский".

Надзор подобных методов не одобрял, в отчете императору сказано, что арест произвел на общество "неблагоприятное впечатление", усилив "беспокойное настроение умов". Иными словами, действовать стоило мягче. Запрет журнала раздразнил

бы общественное мнение.

Поэтому ответ Бенкендорфа скорее умерял пыл императора: "Приказания вашего величества исполнены: Булгарин не будет продолжать свою критику на Онегина. Я прочел ее, государь, и должен сознаться, что ничего личного против Пушкина не нашел; эти два автора, кроме того, вот уже два года в довольно хороших отношениях между собой. Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие за Кавказскими горами и великие события, обессмертившие последние года, не предали лучшего полете гению Пушкина. Кроме того, московские журналисты ожесточенно критикуют Онегина".

Трудно объяснить, почему исследователям прошлого века представлялось, что в этом письме "яд сочится из каждой строки". Или что Бенкендорф "с горячностью защищал Булгарина".

Ни яда, ни горячности. Одна "долговременная опытность". Если закрыть "Северную пчелу", через какой орган III отделение станет влиять на общественное мнение? История, в ее "циническом", как тогда говорили, варианте похожа на попытку Комитета министров разоружить крестьян из партизанского отряда Бенкендорфа под Москвой. Кто же будет воевать?

Или вздыхать, подобно покойному Ангелу: "Некем взять".

"Московские журналы" действительно были не в восторге от "Онегина", писали, что Пушкин "спал с голосу". Даже "Телеграф" не хвалил: "Первая глава *Онегина* и две три, последовавшие за нею, нравились и пленили, как превосходный опыт… Но опыт все еще продолжается, краски и тени одинаковы… Цена новости исчезла… поэт и сам утомился… Онегин есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том о сем… рудник для эпиграфов, а не органическое существо".

Все ругали, а Булгарину нельзя?

Кроме того, шеф жандармов считал своим долгом защищать людей, с которыми связан. В деловых вопросах он не всегда разделял мнение императора. Николай I, например, недолюбливал М.Я. Фон Фока. Надо полагать, не без оснований. Но Максим Яковлевич был опытным и бескорыстным сотрудником, без него Бенкендорф не выстроил бы аппарат отделения и Корпус жандармов.

Другая история произошла с генералом А.Н. Мордвиновым. Тот допустил промах. Государь требовал увольнения. Бенкендорф принес два рапорта. Мордвинова и свой собственный — на случай, если первый будет принят. Николаю I пришлось смягчиться.

Названные люди везли воз повседневной работы ведомства. Из-за частых отлучек и постоянного пребывания рядом с

высочайшим лицом Бенкендорф на многое не мог обратить внимание. Ему нужен был крепкий тыл. Можно повредить службе из-за вспыльчивости или благородных порывов государя. Но потом с него же, шефа жандармов, и спросят, куда он смотрел.

Онегин и Пушкин. Иллюстрация к роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Художник А.В. Нотбек

Поэтому Булгарин получил устный выговор и был вынужден замолчать. А Пушкину Бенкендорф написал 3 апреля: "Мне не совсем понятно, почему вам угодно находить свое положение неустойчивым; я не считаю его таковым, и мне кажется, что от вашего собственного поведения зависит придать ему еще более устойчивости. Вы также не правы, предполагая, что кто-либо может на меня влиять во вред вам, ибо я вас знаю слишком хорошо. Что касается г-на Булгарина, то он никогда со мной не говорил о вас по той простой причине, что встречаюсь я с ним лишь два или три раза в году, а последнее время виделся с ним лишь для того, чтобы делать ему выговоры".

Почему это письмо на фоне ответов императору считается

неискренним? Потому что "два года" Пушкин и Булгарин жили в мире? Это действительно так. Пока не обнаружился плагиат, отношения были ровными.

Потому что Бенкендорф писал, что Булгарин не имеет на него влияния? Они и правда виделись редко. Дружеские отношения литератора со служащими разных департаментов III отделения еще не влияние на самого главу. Подобное противоречило бы субординации. Уровень Булгарина — один из секретарей Александра Христофоровича. Например, Л.В. Ордынский, любовник жены писателя Елены Ивановны. Конечно, и это влияние, но не Булгарина и не на Бенкендорфа.

"ШКИПЕР СЛАВНЫЙ"

Пушкин успокаивался нескоро. Да и Фаддей Венедиктович не простил "Видока". Они еще раз обменялись журнальными ударами, даже когда поняли, что "мандарины" в схватке участвовать не будут. Не запретят "Северную пчелу" и не заподозрят Пушкина в большем, чем своевольный отъезд в Москву.

После пасхального яичка в виде "Записок" сыщика Булгарин подальше от глаз спрятался на своей даче Карлово на Каменном острове, выждал, чтобы не вызывать гнев свыше, и уже в августе возобновил полемику. Теперь он обвинял Пушкина за показной аристократизм и больно бил по прозвищу "русский Байрон".

"Лордство Байрона и аристократические его выходки… — писал Булгарин 7 августа в "Северной пчеле". — свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и все они… заговорили о 600-летнем дворянстве!..Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражавший Байрону, происходил от мулата, или не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из его предков негритянский принц". Когда же взялись искать документы в ратуше, оказалось, что шкипер "купил негра за бутылку рома".

Подобные намеки назывались в то время "личность" и запрещались, в отличие от косвенных. В 1829 г. Пушкин высмеивал это правило:

Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя сказать: Такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол, и подл; все это будет личностью.
Но можно напечатать, например,

Что господин парнасский старовер…

Булгарин перешел на "личность". И личность ему ответила. Пушкин всегда очень внимательно относился к своей родословной и готов был изменить в ней кое-какие неприглядные моменты для большего облагораживания. Однако Булгарин ударил рядом, но не в цель. Как писал Жуковский, "есть что-то похожее на сведения, но сведений нет". Авраам Ганнибал действительно был африканским принцем, привезенным Петру I.

Поэт ответил только в ноябре из Болдино:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал.

Сей шкипер был, тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
В последней строфе слышался упрек:
Сей шкипер деду был доступен.
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб…

Николай I не был по-настоящему "доступен" поэту. Но и потомок бояр Пушкиных — не камердинер царя. Александр Сергеевич сам всегда щепетильно оберегал свое достоинство.

Сближение с этим "волканом" страстей могло обернуться непредсказуемыми последствиями. И это в мире, где "речи — лед, сердца — гранит". Роль "наперсника", на которую претендовал поэт, была занята, и занята по желанию самого государя, другим человеком.

Опубликовать стихи Пушкин захотел только в ноябре 1831 г. и дал пояснение Бенкендорфу: "Около года назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья", в которой выставлялась мать поэта "мулатка, отец которой бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса (утверждение спорное. — О. Е.), это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра".

Несмотря на ссылки на Петра Великого, столь близкие сердцу императора, Николай I нашел невозможным публиковать эту часть "Моей родословной", поскольку она оживила бы едва замятую ссору. "Что касается его стихов, — писал император Бенкендорфу, — я нахожу в них остроумие, но еще больше желчи, чем чего-либо другого. Он бы лучше сделал, к чести своего пера и особенно разума, если бы не распространял их".

Этих слов уже хватило. В самый разгар взаимных обвинений с Булгариным, 18 марта 1830 г., в руки Пушкина попал документ столетней давности. Вот что он писал Вяземскому: "Посылаю тебе драгоценность — донос Сумарокова на Ломоносова… Он отыскан в бумагах Миллера, надорванный, вероятно, в присутствии, сохраненный Миллером как документ распутства Ломоносова: они были врагами. Состряпай из этого статью и тисни в Литературной газете".

На что жаловались поэт А.П. Сумароков и историк Г.Ф. Миллер? Михайло Васильевич вовсе не был тихим человеком. "Напивался пьян", сшибал тростью в присутствии парики с академиков, называл их "академическими жидомордиями". Все это уживалось с гениальностью. Как и у самого Пушкина.

Стоило бы задуматься над превратностями времени: и сто лет назад ученые жаловались друг на друга и втягивали власть в свои склоки. Пройдет еще сто лет, картина не изменится. Во времена Ломоносова доносы заканчивалось "матерним" распеканием со стороны императрицы Елизаветы Петровны. Во времена не столь отдаленные — арестами и ссылками.

Тон, выбранный Николаем I и Бенкендорфом, — не оскорблять, но и не сближаться чрезмерно — позволял власти сохранять лицо.

"КАКАЯ ЖЕ ТЕНЬ ПАДАЕТ НА ВАС?"

Пушкин, конечно, обиделся. Но до этого сам, без объяснений, умчался в Москву. Вновь пришлось оправдываться, по чьему позволению. Даже в вежливом послании Бенкендорфа слышится едва сдерживаемое раздражение.

"К величайшему моему удивлению, услышал я, — писал Александр Христофорович 17 марта, — что внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием… Мне весьма приятно будет, если причины… будут довольно уважительными… но я вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному

вашему поведению".

Заметно, что, несмотря на всю сдержанность, Бенкендорф готов сорваться. Два столетия было принято обращать внимание только на одну сторону вопроса: поэту даже в Москву не позволяли поехать без разрешения. А мы обратим внимание на другое: "согласно с сделанным между нами условием". Значит, договорились, а поэт опять все нарушил. Фон Фок писал, что у Пушкина "семь пятниц на неделе". Имел ли Бенкендорф основания сомневаться в этой характеристике?

Пришлось изворачиваться. Причем довольно неуклюже: "В 1826 году получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего превосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве… не испрашивая предварительного дозволения… Встретив вас однажды на гулянии, на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен делать, я имел щастье о том вас уведомить. Вы же изволили мне заметить: "Вы всегда на больших дорогах"".

Либо одно, либо второе. Либо "не испрашивая предварительного дозволения". Либо "имел щастье о том вас уведомить".

Причину спешного отъезда Пушкина в Москву почли романтической. И умилились.

Стоило бы, конечно, обеспокоиться, ведь его невеста — дочь знаменитой Наталии Ивановны Загряжской, которая едва не отбила у покойной императрицы ротмистра Алексея Охотникова. Но дело прошлое. И не государю Николаю Павловичу, у которот отношения с супругой брата не особенно складывались, блюсти обиды отлетевшей уже Психеи.

Поэтому "матушка Карса" правительство не занимала. Да и сам "Карс" пока тоже. Однако соблазнительно было привести Пушкина в состояние гражданского покоя — внешней респектабельности. У того явился шанс остепениться. А посему благоволение свыше с самого начала было обеспечено.

Тем временем Наталия Ивановна явила себя во всей красе. Приданого за невестой она дать не может. Хотя семья Гончаровых и богатая, но прежний блеск в прошлом. Обеднели. Кроме того, теща боялась, что жених под надзором.

И вот уже несчастному влюбленному надо доказывать — не царю, а родне, — что он добропорядочный подданный, все шалости и чудачества в прошлом.

Писать пришлось опять к Бенкендорфу: "Я с крайним смущением обращаюсь к власти по совершенно личному обстоятельству… — писал он 16 апреля. — Я женюсь на м-ль

Гончаровой… Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя. Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность… ваша снисходительность избаловала меня, и хотя я ничем не мог заслужить благодеяний государя, я все же надеюсь на него".

Чуть более недели, и Бенкендорф ответил. Государь велел делать вид, будто никакого формального надзора нет. Пусть только венчается. Семья — величайший в мире якорь.

"Его императорское величество с благосклонным удовольствием принял известие о предстоящей вашей женитьбе, — писал генерал уже 28 апреля, — и при этом изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг".

Интересно, что бы император сказал, знай он письма Пушкина к К. А. Собаньской, старой одесской знакомой, буквально кануна сватовства? "Я увижу вас только завтра — пусть так. Между тем я могу думать только о вас… Вы — демон… Я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего".

Н.Н. Гончарова (Пушкина). Художник А.П. Брюллов

Путь от демона к Мадонне. Продолжение дороги для Мадонны окажется крестным.

К счастью, император не знал этих строк и назидал Пушкина, как всякого верноподданного, надеясь, что тот "в своем сердце и характере" нашел "качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины". Иными словами, надежность.

"Что же касается вашего личного положения… — продолжал Бенкендорф, — в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только вы сами не сделаете его таковым. Его императорское величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, — наблюдать за вами и наставлять вас своими советами: никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор… Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным".

Так, "в надежде славы и добра" все соединились на том, что Пушкину пора жениться. Неожиданно правительство явило в

частном деле поэта снисходительность и понимание. Наталия Ивановна уступила. И вскоре свадебные колокола должны были возвестить окончательное вразумление Пушкина.

Удалось ли?

Знаем, что нет. Все "благодетельные виды правительства" пропали втуне. Потому что на живого человека не надеть узды. Даже сплетенной любимыми руками.

Но мы оставим поэта и тех, кто его "опекал", в момент хрупкого довольства друг другом. Когда каждая из сторон готова была сделать шаг навстречу. Причем государь и шеф жандармов фактически обманывали Наталию Ивановну. Лишь бы мадемуазель Гончарова стала мадам Пушкиной, и можно было возложить часть ответственности за поведение мужа на нее.

Вместо заключения "НАДЗОР ВСЕ НАДЗОР"

Итак, мы оставляем нашу недружную пару. Не в момент конфликта. Открытых разрывов между ними не было. Впрочем, как и дружбы. Не стоит забывать, что дружил Александр Христофорович с императором Николаем I. А вынужденное высочайшим приказом общение с Пушкиным нес как крест. Причем крест далеко не наградной.

Наши современники хорошо усвоили со школьной скамьи, что Бенкендорф был для Пушкина злой мачехой, нерадивой нянькой. Зададимся вопросом: а кем Пушкин был для Бенкендорфа? Занозой в ребра, как в святоотеческой притче: "Господи, убери от меня этого человека" — "Довольно с тебя и Моей милости".

Обе схемы отношений поэта и шефа жандармов реализованы в литературе. Первая восходит к письму В.А. Жуковского: "Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор". Недавно эта схема ожила под давлением документов, доказывающих доброе отношение Николая I к поэту. Вину привычно сложили на "псаря". "Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные, — рассуждал Жуковский, — во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении… Все формы этого надзора были благородные, ибо от вас не могло быть иначе. Но надзор все надзор".

Вторая схема выглядит еще ужаснее: Бенкендорф выполнял прямые указания императора, и они оба виновны в убийстве поэта. Или как минимум в суровом обращении с ним. Эта картина, закрепленная философом С.Л. Франком ("Николай… отдал его под внешне вежливую, но унизительную и придирчивовраждебную опеку Бенкендорфа") и обоснованная для историков Ю.М. Лотманом ("он много сделал для того, чтобы отягчить участь поэта"), была наиболее употребительной в советское время. Однако ее корни уходят глубоко в традицию рассмотрения данного сюжета. Так, Марина Цветаева горячо отстаивала "теорию заговора" против поэта. Владимир Набоков — априори превосходство властителя дум над властителем земли. Борис Пастернак, сам заигрывая с тираном, говорил о "соблазне" предположить "знанье друг о друге предельно крайних двух начал". Все это — отголоски мифа, созданного в XIX в"

подаренного веку XX и продолжающего дотягиваться до сегодняшнего дня.

Отметим особенность обеих версий: ни одна не учитывала личную ответственность Пушкина. Как если бы он был объектом приложения чужой злой силы. Творец во всем, поэт оказывался неволен лишь в собственной судьбе. И это легко оправдывалось надзором. Между тем надзор за ним был слабо выполним. Малейшее ограничение его бесило, а у тех, кто наложил и осуществлял контроль, не хватало ни сил, ни времени, ни, откровенно говоря, желания. Максимум, на что они были способны, — это делать замечания после того, как Пушкин уже "нашалил".

Письма Бенкендорфа писались именно в тех случаях, когда возникала необходимость "окрика". В остальное время контактов просто не было. Шеф жандармов не запрещал ничего, кроме безусловно запрещенного. Часто закрывал глаза на мелочи. Не проявлял личной злой воли. Упрекать его за то, что он не стал другом Пушкина, не восхитился его гением? Все равно что упрекать М.С. Воронцова за то, что тот не уступил поэту жену.

Сохранилось 90 писем шефа жандармов и поэта друг другу. Менее всего это дружеская переписка. Тем не менее эпистолы Бенкендорфа всегда взвешенные, корректные, максимально отстраненные. Была ли то вежливость сквозь зубы? Вероятно, иногда. Но столь же часто Пушкин нуждался в услугах, которые ему неизменно оказывались Бенкендорфом. Всегда ли поэт был честен? Практически ни разу. Но можно ли в условиях надзора требовать прямоты? Обмануть жандарма — доблесть.

Многостраничное письмо Жуковского — не совсем то, за что себя выдает. Кажется, что это упрек, а на деле — самооправдание друзей, которые не отговорили Пушкина от дуэли. Мудрено помочь при тайном надзоре! Уж если высшая полиция ничего не смогла сделать!

Письмо выглядит бесстрашным шагом отчаяния. Пушкин мертв — "к чему лукавить?" Однако все, сказанное в нем, следовало сказать за несколько лет до роковой черты Николаю I. В семью которого Жуковский был не просто вхож — он учил русскому языку Александру Федоровну, затем надзирал за воспитанием наследника престола Александра. Тем не менее одного взгляда Николая Павловича было достаточно, чтобы преградить поток обвинений. Значит, императора Жуковский боялся, а шефа жандармов нет? Что многое говорит о последнем.

Страшное послание писалось с 25 февраля по 8 марта 1837 г. В первые дни весны Александр Христофорович слег. Таким образом, письмо либо спровоцировало болезнь, либо должно

было ее усугубить. О чем Жуковский, конечно, не думал на фоне смерти Пушкина. Однако объективность требует отметить это "странное сближенье".

При обеих разработанных версиях событий рассказ ведется только с точки зрения поэта. Публицист прошлого века Ю.В. Давыдов справедливо писал, что "всех пушкинских современников соизмерял с Пушкиным: хорош или нехорош был такой-то с Пушкиным. Все современное Пушкину сопоставлял с ним: хороша или не хороша была ситуация для Пушкина. И ни на вершок отступления от объективности? Да в ней-то и нужды не возникало".

Постановка проблемы, при которой на первое место вынесена личность шефа жандармов, позволяет сменить ракурс и захватить больше информации.

Мы постарались рассказать о том, что делали император и Бенкендорф в те ключевые моменты пушкинской судьбы, когда, по убеждению друзей поэта, *должны были* заниматься проблемами Александра Сергеевича. Возможно, нам удалось подложить ткань реальных событий под стежки пушкинской биографии и обнаружить для читателя очевидную истину: они на полотне — не единственные.

В течение последующих лет судьбы поэта и шефа жандармов еще крепче переплетутся. Вплоть до рокового для обоих 1837 г. Этот рассказ мы прибережем на будущее.

notes

Примечания

1

Нашим современникам по книгам памятны толпы у квартиры раненого А.С. Пушкина на Мойке. В марте у дома А.Х. Бенкендорфа на Малой Морской картина повторилась.

2

Бенкендорф А.Х. Воспоминания 1802–1837. М.: Рос. фонд культуры, 2012.

3

Олейников Д.И. Бенкендорф. М.: Молодая гвардия, 2009.

Чукарев А.Т. Тайная полиция России (1825–1855). М., 2005.; *Бибиков Г.Н.* А.Х. Бенкендорф и внутренняя политика Николая I: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.: МГУ, 2009.

5

Обычно исследователи по созвучью подставляют в документ слово "дураков", но у М.С. Воронцова употреблено более грубое ругательство: "м…ов". Вписанное во французский текст русскими буквами оно особенно ясно показывает позицию графа.

6

Дарья Христофоровна Ливен, урожденная Бенкендорф, супруга русского посла в Англии А.Х. Ливена.

7

"Медной Венерой" Пушкин и Вяземский называли в переписке графиню Закревскую (урожденную Толстую) за "медный", золотисто-рыжий цвет волос, хорошо заметный на ее портрете кисти Доу.

8

Известная читателю со школьной скамьи история о мальчике-половом в трактире, который после смерти А.С. Пушкина спрашивал, кто теперь будет назначен поэтом, — переделка приведенного рассказа. Как часто случается с "историческими анекдотами".

9

Демоном поэт называл А.Н. Раевского. А Вяземского то Асмодеем, то Мефистофелем.

10

У Проспера Мериме, который так нравился поэту, в рассказе "Венера Ильская" медная статуя древней богини губит молодого героя, случайно надевшего ей на палец обручальное кольцо.

11

"Взвейтесь соколы орлами, полно горе горевать" — песня времен Кавказской войны.